АЛЕКСАНДР ФРОСТ

МОРОЗ ИДЁТ ПО СЛЕДУ

ПЕТЕРБУРГ



ТОМ 1

Александр Фрост

Мороз идёт по следу. Том 1. Петербург

https://litres.ru/74712673
SelfPub; 2026

Аннотация

Главный следователь пятидесятимиллионного мегаполиса Александр Морозов всю жизнь верил чутью больше, чем выкладкам машины, — и погиб, доказывая свою правоту. Очнулся он на полу съёмной комнаты, в Петербурге, в декабре 1912 года: в чужом теле, с разбитым виском и с бумагой в кармане, по которой завтра надлежит явиться на службу в сыскную полицию. Прежнего хозяина этого тела только что убили, и заявить об этом некому — убитый жив, вот он, подпись ставит. За год он выучит чужой город и чужой век, раскроет шесть убийств, которые все прочие сочли несчастными случаями, и поймёт, что связывает их всех: медные и каменные вещицы из разграбленного сибирского кургана, которые светятся в темноте — и которые видит он один. За ними одиннадцать лет ходит вежливый человек в перчатках, знающий о них слишком много и слишком рано. А ещё есть те, кто, как и Морозов, однажды проснулся кем-то другим. От первого дела о запертой...

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	17
Глава 3	29
Глава 4	41
Глава 5	52
Глава 6	64
Глава 7	75
Глава 8	86
Глава 9	97
Глава 10	108
Глава 11	120
Глава 12	132
Конец ознакомительного фрагмента.	141

Мороз идёт по следу. Том 1. Петербург

Глава 1

Книга первая. Комната без выхода

Пролог

— Девяносто шесть и четыре, — сказал аналитик. Смотрел он не на Морозова, а сквозь него, в выкладки, висевшие у него перед глазами. — Исполнитель установлен, признание получено. Дело можно закрывать, Александр Петрович.

— Признание он вам подписал на вторые сутки, — сказал Морозов. — Он бы и отречение от престола подписал, дай вы ему бумагу. Удар нанесён правой, снизу, с оттягом. Задержанный — левша, на правой у него резано сухожилие, ещё с юности. Я смотрел его руки. Вы его руки смотрели?

— Система учитывает моторику по девяноста двум параметрам.

— Система с ним в одной комнате не сидела.

Начальник управления вздохнул — так вздыхают над старым шкафом, который жалко выбросить, но некуда ставить.

— Саныч. Пятьдесят лет назад твоё чутьё было бы уликой. Теперь улика — вот. — Он кивнул на цифры. — Не тот век.

Век Морозов не выбирал. Он вышел из зала, в лифте снял с уха дужку сопровождения — голос успел сказать «не рекомендую» и замолчал навсегда, — внизу отключил маршрутный контроль и поехал на Гравийную, к дому, который система исключила из перечня на третьем часу анализа. Слиш-

ком чисто исключила. Так выглядит не невиновность. Так выглядит уборка.

Тридцать лет он ходил по адресам, которые цифры считали пустыми, и в девяти случаях из десяти цифры оказывались правы. Но дела делаются из десятых случаев. Этому его никто не учил — это выучивается само, ногами, и не переносится ни в какие выкладки.

Подъезд стоял тёмный, лампа выкручена. Морозов отметил это привычно, без тревоги: выкрученная лампа — тоже показание, и надо будет

1912

Пол был холодный.

Это он понял раньше всего остального — раньше, чем понял, что лежит, и уж тем более раньше, чем понял, где. Холодный крашеный пол, запах мастики и керосина, и щека прижата к половице так плотно, будто её туда положили.

Он не пошевелился.

Тридцать лет службы приучили его к простому порядку: сначала место, потом ты. Себя осмотреть успеешь всегда, ты никуда не денешься. Место меняется каждую минуту.

С пола видно немного, но и немногого хватало. Стул лежал на боку в двух шагах, ножками к окну — не упал, а опрокинут: падают со стуком к столу, а этот отлетел. Половик у двери сбит гармошкой к порогу — кто-то выходил быстро и не оглядываясь. Дверь притворена неплотно; из щели тянуло холодом и лестницей — сырым камнем, кошками, чужим

жильём. У самого плинтуса, на пределе зрения, лежала пуговица. Костяная, с четырьмя дырками, с обрывком нитки. Не отсюда — хотя что здесь было «отсюда», он сказать пока не мог.

Пахло ещё табаком. Табак был скверный, сладковатый, курили недавно и здесь, а пепельницы с пола видно не было.

«Курил гость», — подумал он спокойно, по-рабочему, и только второй очередью пришло всё остальное: что комнаты этой он не помнит, что висок горит и дёргает в такт сердцу, что сердце, кстати, стучит ровно и сильно, как не стучало лет пятнадцать. И что руки — чужие.

Он поднёс ладонь к глазам. Ладонь была худая, жилистая, лет на сорок, со свежей ссадиной на костяшке и застарелым чернильным пятном на среднем пальце — там, где палец держит перо. Его собственные руки были другие: шире, тяжелее, с рубцом от осколка через тыльную сторону левой. Рубца не было. Осколка, выходит, тоже не было.

Морозов сел — медленно, по частям, прислушиваясь к телу, как прислушиваются к чужому дому. Тело слушалось охотно, даже с запасом: спина разогнулась без скрипа, колени промолчали, дыхание шло глубоко и чисто, без привычного свиста на вдохе. В ухе стояла тишина. Не та тишина, когда сопровождение отключено и ждёт, а полная, старинная: в ухе просто ничего не было.

Висок он потрогал последним. Пальцы вернулись в крови — немного, уже подсыхает. Били чем-то тупым и удобным,

наотмашь, один раз. Один раз — это уверенность. Бьющий знал, что хватит, или очень хотел, чтобы хватило.

— Так, — сказал Морозов вслух, чтобы услышать голос.

Голос оказался ниже его собственного и с лёгкой хрипотцой, как после долгой дороги. Что ж. По крайней мере, не тенор.

Он встал и осмотрел комнату уже стоя, по кругу, от двери. Комната была съёмная — это читалось сразу: мебель разномастная, хозяйская, обжитого мало. Кровать железная, заправлена туго, по-казённому. Комод, на комоде зеркало в облезлой раме — в зеркало он пока не смотрел, зеркало никуда не денется. Стол у окна: бумаги стопкой, ровно, углом к углу; чернильница закрыта; рядом стакан в подстаканнике, чай допит до половины и давно остыл. И второй след — мокрый круг на столешнице, пустой. Стакана два, а стоит один.

— Посуду за собой унёс, — сказал Морозов кругу. — Аккуратный.

Аккуратный гость, который курит дрянной табак, уносит свой стакан, опрокидывает стул и выходит, не прикрыв дверь. Стало быть, не вор: ящики комода задвинуты, бумаги на столе никто не ворошил, на виду, на комоде, лежат часы на цепочке — серебро, ходят. Вор часы берёт первыми, это святое.

Пиджак висел на спинке опрокинутого стула — упал вместе с ним и повис. Морозов поднял стул, сел на него и обыскал пиджак так, как обыскивал чужие: сверху вниз, не про-

пуская швов.

Внутренний карман отдал бумажник — тонкий, с четвертным билетом и мелочью, целый, непуганый. Ещё раз: не вор. Дальше пошла паспортная книжка, серо-зелёная, с двуглавым орлом на обложке. Он открыл её и некоторое время сидел неподвижно.

«Морозовъ Александръ Петровичъ», — значилось в книжке. Года рождения тысяча восемьсот семьдесят второго. Вероисповедания православного.

Он прочёл ещё раз. И ещё.

Совпадение было той породы, которую он в работе не любил больше всего: слишком удобное, чтобы быть случайным, и слишком бессмысленное, чтобы быть подстроенным. Кому и зачем подстраивать человеку его собственное имя? Он отложил вопрос в тот ящик, куда складывал всё, что пока не объяснялось, — ящик за тридцать лет ни разу не пустовал, — и стал читать дальше.

Дальше была бумага с печатью, сложенная вчетверо и уже потёртая на сгибах: чиновнику для поручений такому-то предписывалось прибыть в распоряжение начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции. Санкт-Петербургской. Сыскной.

Морозов посмотрел на дату предписания, потом на тёмное окно, за которым качался жёлтый свет фонаря, потом снова на бумагу.

— Понятно, — сказал он, хотя понятно не было ничего.

Понятно было ровно одно: человек, в чьём теле он сидел на чужом стуле, был сыщик. Приезжий, недавний — вон и чемодан в углу стоит недоразобранный, и на предписании сгибы свежие, возили в кармане. Провинциал, получивший назначение в столицу. И этого провинциала сегодня вечером убили — тихо, с одного удара, унеся за собой стакан.

А он, стало быть, очнулся в покойнике.

Морозов поднялся и подошёл наконец к зеркалу.

Из облезлой рамы на него смотрел худощавый господин лет сорока, с тёмными, коротко стриженными волосами, запавшими щеками и усами. Усов Морозов не носил никогда. Теперь, судя по всему, носил. Глаза у господина были неожиданно его собственные — не цветом, цвет как раз был чужой, серый, — а выражением: смотрели из зеркала так же, как он привык смотреть на задержанных. Ссадина на виске уходила в волосы, вокруг наливалось синим.

Он стоял перед зеркалом дольше, чем следовало, и поймал себя на том, что дышит через раз. Вот оно, значит, как подступает. Он аккуратно, как складывают оружие, сложил это чувство пополам и убрал туда же, в ящик к необъяснимому. Паника — роскошь для людей, у которых есть свободное время. Судя по предписанию, свободного времени у него не было.

И тут он увидел свечение.

Оно было на дверном косяке, на уровне плеча — размытое пятно размером с ладонь, зеленоватое, слабое, как гни-

лушка в лесу, только гнилушки не висят на струганом дереве. Пятно не отражало свет лампы; оно светилось само, изнутри, и как будто дышало. Морозов сморгнул. Пятно осталось. Он подошёл — оно было и вблизи, только вблизи стало видно, что это не пятно, а след: смазанный, продолговатый, словно чем-то светящимся провели, задели, оперлись. Он поднёс к косяку руку, и за вершок до дерева пальцы уловили не тепло и не холод, а что-то третье, чему названия у него не нашлось.

Морозов закрыл глаза, сосчитал до десяти и открыл.

Косяк был как косяк.

— По голове получил, — объяснил он себе вслух. — Бывает.

Объяснение было казённое, из тех, что пишут в протоколах, когда писать нечего, и он сам себе не поверил ровно так же, как не верил таким протоколам. Но альтернатива объяснению нравилась ему ещё меньше, поэтому он взял с комода часы, накинул пальто, обнаруженное на гвозде у двери, — пальто село впору, и это отчего-то задело его сильнее, чем лицо в зеркале, — и вышел на лестницу.

На лестнице было темно, пахло кошками и постным маслом, за одной из дверей бранились шёпотом. Он спустился, толкнул тяжёлую дверь и вышел на улицу.

Улица ударила холодом — сухим, крепким, градусов пятнадцать ниже нуля. Снег лежал накатанный, синий от сумерек; горел газовый фонарь, и в его свете снежинки шли наис-

кось, редкие и деловитые. Напротив, через дорогу, тянулась вывеска с твёрдым знаком на конце каждого слова: «Мелочная торговля П. Е. Сычова и с-вья». Ниже, на угловом доме, — эмалевая табличка с названием улицы, которое ему ничего не сказало, кроме главного: буква «ять» в нём стояла как родная.

По мостовой, шипя полозьями, прошли сани. Извозчик — башня из тулупа и кушака — придержал лошадь:

— Прокатимся, ваше благородие? Морозец-то!

— Морозец, — согласился Морозов, и слово легло на язык так ладно, что он чуть не усмехнулся. — В другой раз.

На углу, у афишной тумбы, мальчишка в бабьем платке торговал газетами с лотка. Морозов выудил из кармана медяк — монета была тяжёлая, настоящая, с профилем, — и взял верхнюю. «Петербургскій листокъ». Он развернул её под фонарём и первым делом посмотрел не в заголовки, а туда, куда смотрит всякий человек его ремесла, — в верхний угол, на число.

Декабрь. Тысяча девятьсот двенадцатого года.

Он постоял под фонарём, держа газету на отлёте, как держат документ, в подлинности которого сомневаются. Снег садился на бумагу и не таял. Мимо прошёл городовой в чёрной шинели — прошёл и козырнул ему, привычно, вскользь, как своему. Морозов кивнул в ответ раньше, чем сообразил, что кивает.

Тысяча девятьсот двенадцатый. За сто с лишним лет до

его рождения. В городе, где он не знал ни одной улицы. В теле человека, которого час назад убили. С бумагой в кармане, по которой этому телу завтра поутру надлежало явиться на службу — в сыскную полицию, к людям, которые ждут провинциального чиновника, ни разу его не видев.

Последнее, подумал он, единственная хорошая новость за вечер. Его здесь никто не знает в лицо. Правда, и он не знает ничего: ни города, ни людей, ни того, как здесь пишут «полиция» — поди, тоже с ятем, а соврёшь пером — пропадёшь на первой же бумаге.

Морозов сложил газету вчетверо, сунул под мышку и пошёл назад, к дому, считая по привычке шаги и окна. В его распоряжении была ночь, стопка чужих бумаг, чужой почерк, который предстояло выучить до подписи, и комната, в которой давеча убили человека — тихо, умело и, судя по унесённому стакану, не в первый раз.

Заявить об этом убийстве было некому. Убитый шёл сейчас по снегу с газетой под мышкой.

Утром — на службу. А пока, поднимаясь по тёмной лестнице, он мельком, самым краем глаза, снова поймал на дверном косяке слабый зеленоватый след — и на этот раз промолчал. С необъяснимым он решил поступить так, как поступал всегда со свидетелями, которые врут: не спорить, не верить и записывать всё подряд.

В комнате он первым делом подобрал с пола пуговицу, завернул её в обрывок газеты и убрал в жилетный карман. Ули-

ка с места собственного убийства — за тридцать лет службы такой у него ещё не бывало. Потом запер дверь на ключ, для верности подпёр ручку стулом — тем самым, опрокинутым, пусть послужит, — прибавил огня в лампе и сел разбирать чужую жизнь.

Чемодан отдал её без сопротивления. Две смены белья, вторые сапоги, несессер с бритвой — бритва опасная, этим ещё предстояло овладеть, не перерезав себе горло в первое же утро. Пачка писем, перетянутая бечёвкой. Формулярный список — послужной, читай, паспорт всей службы: из какой губернии, где начинал, чем награждён. Морозов читал его медленно, дважды, как читают дело, по которому завтра докладывать. Выходило, что прежний хозяин тянул лямку в губернском сыскном без малого пятнадцать лет, брал аккуратно, без блеска, и назначение в столицу получил внезапно — таких, как он, в Петербург не зовут, таких оставляют на месте до пенсии. Кто-то его сюда вытащил. Интересно бы знать, кто. И ещё интереснее — зачем: чтобы дать место или чтобы взять здесь, в тихой комнате, с одного удара?

Письма были от сестры из уездного города — про хозяйство, про цены, про то, что «Сашенька теперь столичный», — и на них рука сама собой начинала теплеть, и это тоже пришлось сложить пополам и убрать в ящик. Одно письмо стояло особняком: без подписи, коротенькое, от октября. «Приезжайте, не раздумывая. О квартире не хлопочите, комната будет приготовлена». Комната, значит, была приготов-

лена. Морозов оглядел приготовленную комнату — опрокинутый стул, сбитый половик, мокрый круг от чужого стакана — и согласился, что хлопотать действительно не пришлось.

Оставшуюся часть ночи он делил между двумя занятиями. Он учил почерк — покрывал листы чужой подписью, сначала срисовывая, потом по памяти, пока рука не перестала думать, — и учил человека: по письмам, по пометкам на полях, по тому, как сложены вещи. К четвёртому часу он знал о прежнем хозяине больше, чем иные знают о родне, и твёрдо понимал три вещи.

Первое: убийцу этот человек впустил сам и сидел с ним за чаем — стало быть, знал или ждал.

Второе: заявить об убийстве нельзя. Убитый жив, вот он, подпись ставит. Расследовать придётся тайком, между делом, не задавая вслух ни одного вопроса из тех, что жгли язык.

Третье, самое неудобное, он сформулировал уже под утро, когда за окном заскребли лопатой дворники: тот, кто ударил, ушёл в уверенности, что дело сделано. Люди, которые уносят за собой стакан, в таких вещах не ошибаются. А значит, рано или поздно этот аккуратный человек узнает, что чиновник Морозов исправно ходит на службу, — и придёт проверить, что же у него не вышло.

Морозов погасил лампу. За окном синело, у Сычова гремели засовами. Через два часа ему надлежало явиться на Офицерскую — в чужой чин, в чужой век, к людям, у кото-

рых нельзя спросить даже дорогу к собственному столу.

Он поймал себя на том, что улыбается. Скверная привычка, из-за неё в своё время дважды заворачивали аттестацию: улыбается на разборе — значит, несерьёзный человек. Серьёзные люди верили цифрам и сейчас, надо думать, закрывали там, у себя, его последнее дело с вероятностью девяносто шесть и четыре.

А у него здесь открывалось первое.

Глава 2

Бритва опасная — инструмент честный: она сразу объясняет человеку, кто он в этом веке. Морозов объяснение выслушал, залепил порез клочком газеты и решил, что усы, пожалуй, останутся. Не из любви — из экономии крови.

Одевался он по вещам прежнего хозяина, как по описи: сорочка, воротничок на запонке — запонка далась с третьего раза, — тёмный сюртук, пальто. В зеркале стоял чиновник как чиновник. Морозов смотрел на него с тем чувством, с каким принимают чужое дело: всё вроде на месте, а что тут наработано до тебя — узнаешь в самый неудобный момент.

До Офицерской он взял извозчика — не из барства, а чтобы не спрашивать дорогу. Назвал адрес по предписанию, сел и всю дорогу работал: считывал город, как читают показания. Город показывал перекрёстки с городовыми, ломовые обозы, вывески зубных врачей и ссудных касс, трамвай на повороте — вагон визжал железом так, что лошадь у извозчика прижала уши. Пахло дымом, конюшней и морозом. К запаху претензий не было.

В сыскной пахло иначе: бумагой, сургучом, мокрым сукном и керосином. Знакомо пахло. Он тридцать лет прослужил там, где так пахнуть уже не могло, и вот поди ж ты — родной запах догнал его на сто сорок лет назад.

Дежурный чиновник принял предписание, сверил с жур-

налом и подвинул к нему этот журнал — расписаться о прибытии.

Вот и первый экзамен, подумал Морозов. Полночи он гонял чужую подпись по бумаге, пока рука не перестала спрашивать разрешения у головы, но одно дело гонять при лампе, другое — вывести её при свидетеле, на казённом развороте, между чужих строк. Он взял перо, обмакнул — не глубоко, отметил краем сознания, здесь макают не глубоко, — и расписался, не позволив руке замедлиться. Подпись легла как влитая. Дежурный промокнул её пресс-папье без всякого интереса, и Морозов испытал короткое, совершенно неуместное удовольствие — как от первого раскрытого дела.

Затем его повели по коридору — докладывать начальнику отделения. Морозов шёл следом и мотал на ус: где какая дверь, кто как здоровается, у кого на столе что лежит. Люди в коридоре скользили по нему взглядом без интереса. Приезжий и приезжий. Никто здесь не знал его в лицо — и каждое утро он собирался благодарить за это судьбу отдельно.

Статский советник Вельяминов оказался человеком сухим, аккуратным и немолодым, с бакенбардами, подстриженными до состояния ведомости. Кабинет у него был под стать: ни одной лишней бумаги на виду, чернильный прибор по линейке, на стене — портрет государя и расписание докладов.

— Морозов Александр Петрович, — сказал Вельяминов, глядя не на него, а в его формуляр. — Из губернского сыск-

ного. Аттестован удовлетворительно. Похвальных отзывов... — он перевернул лист, — умеренное количество.

— Стараюсь не выделяться, ваше превосходительство.

— Здесь это ценят. — Вельяминов поднял наконец глаза. Глаза были умные и усталые, как у человека, который двадцать лет подписывает чужие ошибки. — Порядок у нас простой. Мне нужны раскрытые дела в отчёте и не нужны происшествия вокруг моих чиновников. Всё, что раскрыто, должно быть изложено на бумаге так, чтобы прокурорский надзор читал и плакал от умиления. Чутьё, нюх, озарения — это к беллетристам. У меня служат бумаге. Вопросы?

— Никак нет.

— Похвально. — Вельяминов взял со стола тонкую папку и протянул её движением человека, передающего надоевшую вещь. — Вот вам для начала, по вашей части, без шума. Лиговская улица, доходный дом Севрюгина. Третьего дня найден мёртвым закладчик Пыжов. Доктор пишет — паралич сердца. Дверь была заперта изнутри, стало быть, и говорить не о чем. Но домовладелец шумит, будто покойника ограбили, пишет приставу, пристав пишет нам. Съездите, посмотрите, составьте заключение — и чтобы к пятнице этой папки в моём кабинете не было. Возьмёте надзирателя Дроботова, он вам заодно покажет, где у нас что.

В коридоре его ждал человек, при виде которого Морозов внутренне выдохнул: такие люди в любом веке одинаковы. За пятьдесят, плечи как комод, шинель сидит горбом, усы

жёлтые от табака, взгляд — будто он вам уже должен рубль и не отдаст из принципа.

— Надзиратель Дроботов, Кузьма Игнатьевич, — представился человек без восторга. — Мне велено при вашем высокоблагородии состоять. Извозчика брать будем или казённых прогонов пожалеем?

— Пожалеем, — сказал Морозов. — Пройдёмся. Заодно расскажете про Пыжова.

Дроботов покосился на него с первым проблеском интереса — начальство, желающее ходить пешком и слушать, встречалось ему, видимо, нечасто, — и пошёл рядом, выбрасывая слова, как лопатой:

— Пыжов, стало быть. Аристарх Кузьмич. Закладчик с Лиговки, сидел там лет пятнадцать. Патент имел на ссудную кассу, а работал, промежду нами, шире патента. Наш брат его знал: Пыжов брал такое, чего приличный закладчик не возьмёт. Вещь с чужим вензелем, ложки с монограммой, портсигар, который третьего дня в газете пропечатан. Брал и не спрашивал, откуда. За то воры его любили, а мы терпели: через него, бывало, краденое и выплывало. Тронешь такого — сто ниточек оборвёшь.

— Враги?

— У закладчика-то? — Дроботов хмыкнул. — Пол-Лиговки ему должно, вторая половина ему носила. Только, ваше высокоблагородие, врагов у него как раз не водилось. Должник — он ведь что? Он кредитору смерти не желает, он

желает отсрочки. Помрёт Пыжов — долг-то не помрёт, долг наследникам перейдёт, а наследники, известно, хуже покойника.

— Кто нашёл?

— Приказчик его, Лоскутов. Пыжов два дня не отпирал и к обедне не вышел, Лоскутов дворника взял, городового кликнул, дверь сломали. А там — сидит хозяин в креслах у стола, остывший. Доктор приехал, глянул: сердце. Возраст, полнота, наливочку уважал. Всё чин чином, кабы домовладелец не полез в бумаги — ему за квартиру недоплачено, — да не увидел, что касса пустая. Вот и шумит: ограбили, дескать, а полиция спит.

— А домовладелец что за человек?

— Севрюгин-то? — Дроботов сплюнул с уважением. — Купец. Дом у него доходный, а сам он расходный: за копейку в прорубь нырнёт и вынырнет с двумя. Пыжов ему был жилец золотой, платил вперёд. И вот, изволите видеть, за последний-то месяц — недоплата. Севрюгин и взбеленился: куда, кричит, деньги девались, коли касса при жизни полная стояла? Он, промежду нами, в ту кассу через приказчика заглядывал: одолжался у Пыжова, когда его собственная копейка в обороте.

— То есть о том, что в кассе бывало, домовладелец знал.

— Знал, — согласился Дроботов и покосился уже с откровенным интересом. — Экой вы, однако. С утра приехали, а уже кто про что знал выспрашиваете.

— Привычка, — сказал Морозов. — В губернии, знаете, развлечений мало.

Дом Севрюгина стоял в ряду таких же — бурый, в пять этажей, с промёрзшими лестницами и запахом кислых щей, вбитым в стены навечно. Во дворе их перехватил дворник — бородатый, в бляхе, с лопатой наперевес, — и с ним, следом, сам домовладелец: багровый человек в лисьей шубе, начавший кричать за пять шагов:

— Наконец-то! Ограбили средь бела дня, а полиция четвёртый день чаи гоняет! У меня, милостивый государь, дом приличный, у меня генеральша во втором этаже...

— Кричать будем или показывать? — спросил Морозов, не прибавляя голосу ни силы, ни злости, и Севрюгин осёкся, как осекались до него сотни людей в другом городе и в другом веке. Работало, стало быть, и здесь. Хоть что-то переносилось через года без порчи.

Дворника он взял в оборот тут же, во дворе. Тот отвечал обстоятельно, поглядывая на Севрюгина: чужих в те дни не видал, по чёрной лестнице ходит кухарка генеральши да угольщик по средам, ворота на ночь запираются, а калитка — она, известно, калитка. К Пыжову ходил народ разный, всех не упомнишь, а в последний вечер, как сейчас помнит, приходил под фонарём человек — а какой человек, того не помнит: в пальто-с.

— Богатая примета, — сказал Дроботов. — В пальто. Пиши в розыскной лист: пол-Петербурга задержать до выясне-

ния.

Третий этаж, дверь с латунной табличкой «А. К. Пыжовъ. Ссуды подъ закладъ». Дверь была опечатана; замок из неё торчал выломанным мясом.

Городовой снял печать, Лоскутов уже ждал на площадке — молодой человек лет двадцати восьми, узкоплечий, в чистеньком пальтишке, с лицом из тех, что забываются, пока на них смотришь. Он поклонился, придержал дверь, сказал «сюда-с, ваше высокоблагородие» — и вообще был услужлив ровно настолько, насколько положено осиротевшему приказчику.

— Показывайте, — сказал Морозов. — И рассказывайте. Всё подряд, я разберу, что лишнее.

Квартира была из двух комнат: приёмная с конторкой и решётчатой перегородкой да хозяйская, где Пыжов жил и умер. Тело уже увезли в покойницкую — Морозов мысленно поставил галочку съездить туда сегодня же, пока тело не ушло под бумаги, — но кресло стояло как стояло, у стола, вполоборота к двери. Сидел, стало быть, лицом к гостю, если гость был. Умирающий от сердца человек хватается за грудь, сползает, роняет — здесь ничего не уронено: счёты на месте, чернильница закрыта, бумаги стопкой. Либо смерть была мгновенной и милосердной, либо после неё кто-то навёл порядок. Милосердие Морозов по опыту исключал первым.

На столе стоял стакан и графинчик с остатками тёмной наливки на донышке. Он поднял графин к свету, понюхал.

Вишня, спирт — и под ними, на самом дне запаха, что-то ещё: тонкая, лекарственная горчинка, которой у вишни быть не положено. Он понюхал ещё раз — горчинка не померещилась, но и предъявить её было некому: запах к протоколу не подошьёшь.

— Графин и стакан — опечатать и со мной, — сказал он. — В опись: изъято для исследования.

— Наливку-то? — искренне удивился Дроботов. — Александр Петрович, помилуйте, кто ж наливку исследует. Её пьют-с.

— Вот и посмотрим, что он пил.

Морозов начал, как всегда, с двери.

Замок врезной, тяжёлый, ключ так и торчал в скважине с внутренней стороны — его не тронули, когда ломали, полотно высадили из коробки. Морозов присел, осмотрел ключ, не касаясь: бородка тёртая, потемневшая от лет, а по самому краю — свежие светлые царапины, тонкие, как волос. Он зафиксировал это машинально, как фиксировал всё, — в общий ящик, разберём позже, — окликнул городового и велел ключ с замком, как есть, вынуть при понятых и приобщить.

— И замок туда же? — Дроботов посмотрел на него, как смотрят на человека, который солит чай. — Наливка, замок... Александр Петрович, у нас на вещественные один шкап, и тот сторож дровами занял.

— Потеснится, — сказал Морозов.

Затем он перешёл к окну. Рама двойная, зимняя, заклее-

на по-хозяйски бумагой, щеколда опущена, на подоконнике пыль лежала ровно, как снег в поле. Третий этаж, под окном отвес — ни карниза, ни трубы.

— Печь топлена? — спросил он.

— Вьюшка закрыта-с, — с готовностью отозвался Лоскутов. — Труба узкая, туда и кошке тесно.

— А вы, я вижу, уже прикидывали, — сказал Морозов, не оборачиваясь.

Лоскутов сзади тихонько хихикнул — виновато, услужливо:

— Так ведь два дня все только про то и говорят-с. Дверь заперта, окно заперто. Стало быть, Богу душу отдал, больше некому-с.

— Ключи от квартиры у кого были? — спросил Морозов, обходя приёмную.

— Один-с, — Лоскутов сложил руки на животе. — У Аристарха Кузьмича. Они второго не заводили, недоверчивы были-с. Я поутру приходил — они мне сами отпирали. И запирались за каждым посетителем, такой порядок-с.

— А в кассу кто имел доступ?

— В кассу — только они-с. Мне — размен на конторке, для мелких выдач. Большие деньги хозяин при себе держал, при мне из кассы брал, счёту не показывая. — Лоскутов вздохнул с приличествующей скорбью. — Недоверчивы были-с. Оттого и жили одиноко: супруга их который год отдельно проживает, на Боровой. Характер-с.

— Пил он с кем? — Морозов кивнул на графин.

— Наливочку? Больше в одиночестве-с. Разве гость какой из уважаемых... — Лоскутов запнулся на четверть секунды — Морозов запинку взял на карандаш — и договорил ровно: — Только в последние дни гостей не было-с. При мне-с.

— А не при вас?

— Не могу знать-с, — сказал Лоскутов, глядя чистыми глазами, — не при мне-с.

Ответ был безупречный, как новый гривенник. Морозов такие ответы не любил: у честных людей ответы обычно мятые.

Касса — железная шкатулка в конторке — была пуста, если не считать медной мелочи в углу. Морозов раскрыл залоговые книги. Почерков в них было два: круглый, ленивый — хозяйский, и мелкий, ровный, чистенький — приказчицкий. Записи шли густо: шуба енотовая, самовар, ризы серебряные, портсигар... Он листал назад от последнего дня и на записи недельной давности остановился.

«Принято отъ С-ва въ закладъ: предметъ каменный, старой работы. Оцѣнка по соглашенію».

Оценка по соглашению — и цифра, от которой у него дрогнула бровь: за такие деньги на этой улице можно было заложить полдома. Ни в описи вещей, ни на полках предмета каменного старой работы не значилось.

— Это что за запись? — Морозов развернул книгу к Лоскутову.

Тот заморгал:

— Не могу знать-с. Рука хозяйская. Аристарх Кузьмич, случалось, принимали сами, без меня, вечерами-с. Меня отсылали-с.

— Часто отсылал?

— В последний месяц — почитай, каждую неделю-с.

Хранилище было тут же, в хозяйской комнате: шкаф и полки за суконной занавеской. Морозов отдёрнул занавеску — и остановился.

Полки как полки: узлы, футляры, самовар с ярлыком. А одна — по правую руку, на уровне груди — пустая. И она светилась.

Не отблеском, не пылью в косом луче. Она светилась так, как светился давеча дверной косяк в его комнате, только ярче — сильным, ровным, зеленоватым светом, лежавшим на досках длинным пятном, будто вещь, стоявшая здесь, пропитала дерево. По краю пятна свет был смазан: брали торопливо, тащили на себя.

Морозов стоял и смотрел. Свет не мигал и не думал исчезать.

— Ваше высокоблагородие? — окликнул сзади Дроботов. — Вы чего там углядели?

— Пыль, — сказал Морозов ровно. — Пыли нет. На всех полках есть, на этой нет. Стояло что-то — и взяли.

— Знамо, взяли, — согласился Дроботов, подходя. — Касса пустая, полка пустая. Только вот дверь-то, Александр

Петрович, заперта была. Изнутри-с. Вещи — они ведь через замочную скважину не ходят.

— Не ходят, — сказал Морозов.

Он опустил занавеску, и сквозь редкое сукно ему ещё с полминуты было видно, как на пустой полке ровно, никуда не торопясь, горит след вещи, которой здесь больше не было.

Глава 3

Покойницкая при больнице встретила их холодом, карболкой и голосом, который Морозов услышал ещё с лестницы:

— ...и передайте его превосходительству, что раньше пятницы бумаги не будет, потому что писать её некому, а те, кому есть, заняты де-лом!

Голос принадлежал сухому старику в клеёнчатом фартуке поверх сюртука — прозектору Штейну, Эмилию Карловичу, как отрекомендовал его шёпотом Дроботов, прибавив от себя: «Жёлчный немец, но покойника уважает». Штейн выпроводил больничного писаря, оглядел вошедших поверх очков и осведомился тоном, каким спрашивают «что вам угодно» у половых:

— Полиция? По Пыжову? Бумага будет в пятницу.

— Бумага мне не нужна, — сказал Морозов. — Мне нужно тело.

Штейн снял очки, протёр их фартуком и посмотрел уже внимательно.

— Любопытно, — сказал он. — Пятнадцать лет здесь служу. Полиции всегда нужна бумага. Тело им не нужно никогда. Кто вы такой?

— Морозов. Чиновник для поручений, из новых.

— Оно и видно, что из новых. Идёмте, пока не передума-

ли.

Пыжов лежал на цинковом столе — большой, грузный, с лицом спокойным до обидного. Штейн откинул простыню движением лектора, открывающего доску.

— Извольте. Мужчина за пятьдесят, полнокровный, упитанный. Наружных повреждений нет. Знаков борьбы нет. Странгуляционной борозды нет, и не ищите, я смотрел. Доктор, выезжавший на место, написал «паралич сердца» — и знаете что? Я вскрывал. Formally он прав.

— А не формально?

Штейн помолчал, глядя на покойника с личной, застарелой неприязнью — не к нему, понял Морозов, а к формулировке.

— Не формально, милостивый государь, у этого паралича сердца — сердце как у молодого быка. Я такие сердца у ломовых извозчиков вижу, которые до восьмидесяти живут и помирают от водки, а не от сердца. Оно остановилось — это факт. Отчего остановилось — вот вопрос, которого мне никто не задал. Доктору на месте было холодно, приставу было некогда, а покойник, по своему обыкновению, промолчал.

— Я задаю, — сказал Морозов. — Отчего?

— Не знаю, — с видимым удовольствием сказал Штейн. — Впервые за год слышу вопрос, на который приятно ответить «не знаю». Содержимое желудка я, разумеется, сохранил — привычка, за которую меня здесь считают чудаком. Наливка, хлеб, рыба. И горечь. Слабая, но горечь, которой

там быть не должно.

Морозов поставил на цинковый край опечатанный графин.

— Вишнёвая, из его комнаты. Понюхайте дно.

Штейн понюхал — раз, другой, — и лицо его сделалось таким, какое бывает у человека, встретившего старого врага в приличном обществе.

— Так-так, — сказал он. — Так-так-так. Обещать ничего не обещаю, исследование займёт время, реактивы у нас казённые, то есть их нет... но горечь я эту, кажется, знаю в лицо. Если это то, о чём я думаю, то сердце у вашего закладчика остановили, как часы, — аккуратно и со знанием дела. Наперстянка, милостивый государь. Лекарство. В малой дозе сердечных больных им лечат. В хорошей дозе... — он накрыл Пыжова простынёй, — лечат окончательно.

— Достать её трудно?

— Наперстянку? — Штейн пожал плечами. — Это вам не мышьяк, за которым в лавку ходят крыс морить. Digitalis — средство рецептурное, аптечное. Настойку держат сердечники, ею пользуют по каплям. Стало быть, ищите либо больного, либо того, кто возле больного кормится, либо аптекаря с плохой памятью. Утешу вас: капель тут было не десять. Тот, кто наливал, о каплях понятия имел твёрдое — именно поэтому и налил с запасом.

— В бумаге что будет?

— В бумаге в пятницу будет «паралич сердца», — желч-

но сказал Штейн, — потому что переписывать заключение без прокурорского требования я не стану, я здесь не за тем, чтобы меня со службы погнали. А вот вам лично, если зайдёте на неделе, будет то, что есть. Тело я подержу, сколько смогу, — у меня оно, по крайней мере, в безопасности: сюда начальство не заходит, брезгует. Вы, я вижу, из тех, кому есть разница.

На улице Дроботов долго крутил головой:

— Двадцать лет немца знаю — первый раз видел, чтоб он с полицией разговаривал дольше трёх слов. Обыкновенно у него все три — «бумага будет в пятницу».

— Мы с ним одной веры, — сказал Морозов. — Оба не любим, когда за покойника расписываются другие.

Вдова Пыжова проживала на Боровой, в двух комнатах с геранью, образами и такой стерильной обидой на покойного мужа, что обида эта стояла в доме вместо мебели. Была она женщина ещё не старая, опрятная, с поджатыми губами.

— Восьмой год врозь живём, — сообщила она, не дожидаясь вопроса. — И не спрашивайте отчего. Оттого, что Аристарх Кузьмич обществу человеческому предпочитали общество вещей-с. Он и меня-то, я думаю, взял под залог, да выкупить забыл.

Морозов мысленно занёс формулировку в список лучших показаний года.

О делах мужа вдова знала мало и знать не хотела, однако из мелкой мстительной наблюдательности, свойственной

брошенным жёнам, вынесла и сберегла много полезного. Что в последний месяц муж сделался «пужливый»: дважды присылал за какими-то бумагами, свечи жёг до света. Что приказчик его, Гришенька, — «тихий-тихий, а ночами шастает: кухарка севрюгинская его через двор затемно видала, и не раз». И что повадился к мужу под вечер ходить гость — «из благородных, в хорошем пальто, лица не видала, а походку видала: ходит, как землю не любит».

— Это как же? — не удержался Дроботов.

— А так, что легко ходит, — отрезала вдова. — Наш брат ступает, а этот — несётся. По земле ходить не приучен.

Остаток дня ушёл на залоговые книги. Морозов расстелил их в отделении и выписывал должников со всей канцелярской смиренностью, какой требовал Вельяминов, — а Дроботов сидел напротив и по каждой фамилии выдавал справку устно, без запинки, как читают наизусть псалтырь: этот пьёт, этот в отъезде, эта шуба спорная, за этим ничего, кроме глупости.

В коридоре отделения его перехватил Вельяминов — на ходу, между двумя докладами:

— Морозов. Мне доложили, вы по пыжовскому делу изымаете... — он заглянул в бумажку, — наливку. И дверной замок. Целиком.

— Так точно, ваше превосходительство. Для полноты заключения.

— Для полноты заключения достаточно свидетельства

врача, — сказал Вельяминов. — Оно есть. Я ценю усердие новых людей, но предупреждаю: если из наливки вырастет дело, по которому нечего будет предъявить прокурору, кроме вашего носа, — отвечать за расход казённого времени будете вы. К пятнице, Морозов. К пят-ни-це.

— Слушаюсь.

Вельяминов ушёл, унося своё расписание, а Дроботов сказал в пространство, ни к кому не обращаясь:

— А наливку-то, между прочим, немец нюхал и в лице переменился. Я видел-с.

— Кузьма Игнатьевич, — сказал Морозов, — есть поручение. Тихое. Кухарка генеральшина, что Лоскутова затемно через двор видала, — свести бы с ней знакомство. Не допросом — по-соседски. Куда тихий приказчик ночами ходит, во сколько возвращается, один ли. И второе: пусть кто-нибудь из ваших, кому верите, поглядит за самим Лоскутовым день-другой. Без бумаги, без рапорта.

— Без бумаги, — с удовольствием повторил Дроботов. — Вот это по-нашему. А то я уж заскучал: думал, вы всё в опись да в опись.

Запись о «предмете каменном» стояла особняком. «Принято отъ С-ва». Сличили с алфавитом заёмщиков: на «С» за последний месяц один крупный — Севастьянов, Павел Егорович, из отставных чиновников путейского ведомства, проживает в меблированных комнатах у Обводного.

— Знаю такого, — сказал Дроботов. — Тихий барин, в

картишки поигрывает. По маленькой, но каждый вечер, а «по маленькой каждый вечер» — это, Александр Петрович, дороже, чем по большой раз в месяц.

Поехали к Обводному. В меблированных комнатах пахло щами и керосином; хозяйка, узнав, о ком речь, всплеснула руками: съехал! Третьего дня съехал, вечером, наскоро — за комнату доплатил, не торгуясь, вещи взял не все: самовар бросил, книги бросил, галоши новые бросил.

— Куда съехал, не сказывал?

— К родне будто бы, в Лугу. Только какая в Луге родня, коли он сам сказывал — один как перст?

Морозов осмотрел брошенную комнату. Комната подтверждала хозяйку: бежали. Бежали спешно, но не в панике — бумаги вывезены подчистую, ни письма, ни клочка, а самовар оставлен. Человек, которому есть что скрывать, бумаги ценит дороже самоваров.

— Вот вам и должник, — с удовольствием сказал Дроботов на лестнице. — Заложил камень за бешеные деньги, а через неделю закладчик — покойник, касса пустая и камня нет. Съездить в Лугу — и дело в шляпе.

— Складно, — согласился Морозов. — Даже слишком. Должник, который убил и обокрал, выкуп не оставляет. А этот доплатил хозяйке за комнату. Убийцы, Кузьма Игнатьевич, за собой долгов не платят — им уже всё равно. Платят те, кто собирается вернуться... или очень боится, что запомнят.

— Мудрёно, — сказал Дроботов, но спорить не стал.

Оставалось ещё одно место, куда Морозову было надо и куда Дроботов повёл его с видимым удовольствием предвкушающего человека: Сенная. По дороге он объяснял, понизив голос до делового:

— Есть там комнаты меблированные, Луконинои Степаниды. По бумагам — гостиница, по существу — сорочье гнездо: половина Сенной у ней столуется, ночует и вещи держит. Сама — баба умная, с полицией не воюет, но и не дружит: торгует. Сведениями-с. Хотите про Лиговку знать — вам к Стеше. Только, Александр Петрович, упаси вас бог у ней в доме шарить. Шарить будете — она вам год потом пустое место показывать станет, и вся Сенная с ней заодно.

Сенная к вечеру гудела, как гудит всякий рынок, доживающий торговый день: криком, санным скрипом, руганью и колокольным звоном сверху, надо всем. Морозов шёл сквозь неё и ловил себя на странном: третий день в чужом веке — а походка уже здешняя. Тело помнило то, чего не знал он: как разминуться с ломовиком, где прижать карман, когда снять шапку. Он пользовался чужой памятью, как пользовался чужой подписью, — без спросу и без благодарности, потому что спросить было уже не у кого.

Заведение Луконинои занимало этаж над трактиром. В коридоре пахло постным маслом, табаком и бабьим мылом; из-за дверей слышалась гармошка. Сама хозяйка вышла к ним в наброшенном на плечи платке — лет тридцати пяти,

статная, с лицом скорее насмешливым, чем красивым, и глазами, которые произвели опись Морозова быстрее, чем он успел снять шапку: сукно, сапоги, руки, взгляд. По итогам описи она чуть приподняла бровь.

— Новенький, — сказала она Дроботову, как будто Морозова здесь не было. — Из каких краёв такого выписали, Кузьма Игнатьич?

— Из губернии, — сказал Морозов. — Морозов, чиновник для поручений. А выписали, Степанида... по батюшке как?

— Обойдёмся, — сказала она. — Стеша — и довольно, чай не в присутствии. Пыжов, стало быть? — Она усмехнулась его невысказанному вопросу. — А то по какому же ещё делу. Вся Сенная третий день гудит: помер паук, касса пустая, полиция дверь ломала. Заходите уж, ваше высокоблагородие. В коридоре о покойниках не говорят — примета дурная для заведения.

В её комнатке — чистой, с самоваром и божницей, с конторкой, запертой на два замка, — Морозов повёл разговор так, как вёл его всю жизнь: не спеша и не записывая. Стеша отвечала в том же жанре: гладко, с улыбкой и ровно на копейку меньше спрошенного. Да, Пыжова знала — кто ж его не знал. Да, носили ему — а куда ж ещё носить, не в ломбард же казённый с бумагами. Кто носил — вот уж, ваше высокоблагородие, вопрос не ко мне: у меня гостиница, а не адресный стол.

— Севастьянов, — сказал Морозов. — Павел Егорович. Отставной путеец, играет по маленькой.

Что-то прошло по её лицу — не испуг, скорее быстрый щелчок костяшки на счётах.

— Слыхала, — признала она. — Играть — играет. У меня не бывал, врать не стану. А что вам в нём?

— Он неделю назад заложил Пыжову вещь. Дорогую. А третьего дня съехал в неизвестном направлении, бросив самовар.

— Самовар бросил? — Стеша покачала головой с искренним, кажется, осуждением. — Стало быть, крепко напугали человека.

— Кто напугал?

— А это, ваше высокоблагородие, уже сведения, — ласково сказала она. — А сведения у нас на Сенной — товар. Даром одни оплеухи раздают.

— Чем берёте?

Она не спеша налила ему чаю — сама, не кликнув прислугу, и Морозов отметил: разговор, стало быть, признан стоящим чая. В её деле это была валюта не хуже прочих.

— Прежний чиновник, царствие ему небесное месту его, начинал с того, что грозился заведение закрыть, — сказала она, ставя стакан. — Через то и знал всегда меньше всех на Сенной. Вы вон с уговора начинаете. Далеко пойдёте... или недалеко, тут ведь как повезёт. — Она села напротив, сложила руки. — А чем богаты? — И смерила его ещё раз, уже с

интересом. — Деньгами казёнными сорить не станете, вы не из таких, это по сапогам видать. Тогда так: вы в мой дом без крайности не ходите и людишек моих по мелочи не трясите. По мелочи, говорю, — про крупное уговору нет, я не безумная. А я вам за то скажу, куда путеец ваш подевался. Не сей минут — к завтрему. Сенная большая, а язык у ней один.

Морозов встал, собираясь ответить, — и не ответил.

За её плечом, в простенке между конторкой и божницей, на голой стене висело зеленоватое пятно света. Оно было старое — не горело, а тлело, выцветшее, как застиранное, — но оно было: след, отпечаток, тень вещи или руки. Он смотрел на него, наверное, секунды три. По меркам допроса — вечность.

— Ваше высокоблагородие на стенку глядят, — ровно сказала Стеша. — Стенка как стенка. Клопов не держим.

— Контузия, — сказал Морозов, отводя глаза с правильной, отработанной за ночь неторопливостью. — Старая история. Находит иногда.

— Бывает, — согласилась Стеша тоном, которым соглашаются с ценой, чтобы запомнить её и передумать позже. И уже в дверях, в спину, добавила: — А за путейцем присылайте завтра к вечеру. Только сами не ходите... контуженый. Вам сюда часто ходить — приметы плохие.

На дворе смеркалось. Дроботов, отряхивая шапку, подвёл итог дня по-своему:

— Ну-с, Александр Петрович, поздравляю: Стеша с ва-

ми разговаривала. Это, чтоб вы знали, не со всяким начальством случается. А только помяните моё слово — путейца вашего мы не догоним. Кто самовар бросает, тот на месте не сидит.

К ночи выяснилось, что Дроботов ошибся ровно наполовину. Севастьянова видели: вечером третьего дня он взял извозчика у Обводного — и не к вокзалу, как сулила Луга, а вглубь города. С той поездки его не видел никто: ни в комнатах, ни за картами, ни в участках, ни — Морозов проверил особо — в покойницких.

Человек, заложивший каменный предмет за половину дома, исчез в городе, не выезжая из него. Так исчезают не должники.

Так исчезают свидетели.

Глава 4

Стеша слово сдержала — и сдержала по-своему. Назавтра к вечеру в отделение явился мальчишка с запиской без подписи: «Обводный, дом Гусарова, спросить солдатку Матвееву. Пусть идут двое и без шинелей. Человек пуганый, спугнёте — ищите ветра».

— Грамотная, — с уважением сказал Дроботов, читая через плечо. — Ни имени, ни своего, ни вашего. Такую записку хоть приставу на стол — пустое место.

Севастьянов обнаружился в комнатке за кухней, у солдатки, которой приходился не то дальним родственником, не то просто платил. Отставной путеец оказался человеком лет пятидесяти, из тех, кого жизнь сначала крахмалила, а после долго мяла: сюртук приличный, но третий день не сменённый, руки дрожат, глаза бегут. Увидев Морозова, он не побежал — сел на койку и сказал с облегчением приговорённого:

— Слава богу. Полиция. Я уж думал — те.

Дальше Морозову оставалось только слушать и изредка поправлять русло.

Камень достался Севастьянову осенью, по глупости и в карты. Играли у знакомых, был проезжий человек — «из Сибири будто бы, по коммерческой части», — продулся дотла и в уплату оставил вещь: фигурку тёмного камня в пол-ладони, старой работы, «не то идол, не то зверь, не разобрать».

Севастьянов взял, посмеялся, поставил на комод.

— А потом, ваше высокоблагородие, началось-с. — Он потёр руки, будто мыл их без воды. — Не спалось при ней. Ляжешь — а она будто смотрит. Тепло от ней, от каменной, понимаете? Зимой, на холодном комоде — тёплая. Я человек не суеверный, я двадцать лет мосты считал, я в чертёж верю... А тут — снится. Каждую ночь снится, и всё одно и то же: будто её у меня спрашивают, а я отдать не могу.

— Кто спрашивает?

— А не видать лица-с, — шёпотом сказал Севастьянов. — Пальто видать. Хорошее пальто.

— Проезжий этот, сибирский, — кто таков? Фамилия?

— Назвался Корнеевым, а по правде — кто ж его знает. — Севастьянов пожал плечами. — В картах фамилий не спрашивают, спрашивают наличные. Человек степенный, борода с проседью, крест на нём старый, медный... Играл хорошо, а в тот вечер — как подменили: гнал и гнал, будто нарочно спускал. Теперь-то я думаю, — он понизил голос, — что нарочно и спускал-с. Что ему эту вещь надо было с рук сбыть, как я потом сбывал. Наутро съехал, и в гостинице сказали — расчёт вперёд был дан, ещё с вечера. Понимаете? Он ещё садясь играть знал, что уедет налегке.

— Вещь опишите. Подробно.

Севастьянов прикрыл глаза, и лицо у него сделалось несчастное — как у человека, которого просят вспомнить зубную боль:

— В пол-ладони. Камень тёмный, не то зелёный, не то серый, — при свече так, при окне этак. Тяжёлая не по размеру. Фигура сидячая: не то зверь, лапы под себя, не то человек, скорчился. Морда... лица... стёрто всё, старая работа, одни желобки остались. И тёплая. Я её на мороз выставлял, за окно, нарочно, — она с мороза тёплая-с. После этого и понёс закладывать.

Потом пальто пришло наяву. Дважды: раз — человек догнал его на улице, вежливый, голос мягкий, предложил продать «безделицу, что вам досталась случайно», цену назвал несуразно щедрую; второй раз — тот же голос, из темноты подворотни, уже без «продать»: отдайте, Павел Егорович, добром. Севастьянов, путеец и человек чертежа, сделал тогда единственный логичный ход, какой знал: понёс вещь туда, где вещи превращаются в деньги, а хлопоты — в чужие. К Пыжову. Тот принял — «и глазом не моргнул, будто ждал-с», — оценил, как не оценивают камни, выдал деньги и велел приходить за выкупом не раньше, чем через месяц.

— А через неделю, — Севастьянов сглотнул, — Аристарх Кузьмич — покойник. Дверь, говорят, заперта, а касса пустая. Я как услыхал — в тот же вечер собрался. Потому что я, ваше высокоблагородие, мосты считал: если пальто до Пыжова добралось, следующий пролёт — я.

— Отчего же в Лугу не уехали?

— А куда от него в Лугу? — просто спросил Севастьянов. — Он же не за мной ходит. Он за ней.

Морозов задал ещё десяток вопросов — о вечере смерти Пыжова. Тут всё оказалось скучно и прочно: с восьми и до четвёртого часа утра Севастьянов сидел за картами в собрании приказчиков на Забалканском, при дюжине свидетелей, проиграл четыре рубля с полтиной, что подтверждалось записью в клубной книге, и был выведен под руки, что подтверждалось швейцаром. Дроботов проверил в тот же вечер: сходилось до минуты. На человека, отпершего хитрый замок и напоившего Пыжова наперстянкой, путеец не годился никак — в те самые часы он с треском не годился даже на преферанс.

Ложный след, вильнув, кончился. Остался рассказ — из тех, что нельзя подшить: тёплый камень, сны, пальто из подворотни. Морозов слушал его с лицом человека, записывающего бред, и с холодком под ложечкой, потому что бред этот стоял в его деле рядом со светящейся полкой — и они друг другу подходили.

— В участок не заберёте? — с надеждой спросил под конец Севастьянов. Прозвучало это как «в крепость не спрячете».

— Сидите у солдатки, — сказал Морозов. — Со двора — никуда. Понадобитесь.

В пятницу утром бумага Штейна легла куда положено — «паралич сердца», — а к полудню Морозова вызвал Вельяминов.

— Докладывайте, — сказал он, сложив руки на пустом,

как плац, столе.

Морозов доложил то, что можно было доложить: касса пуста, заклад исчез, приказчик показывает гладко, должник с алиби. Про наливку сказал осторожно: есть основания полагать отравление, исследование производится.

— Основания, — повторил Вельяминов. — Покажите мне их, Морозов. Вот сюда положите. — Он похлопал ладонью по столу. — Свидетельство врача — вот оно: паралич сердца. Заключение прозектора — вот оно: паралич сердца. Дверь заперта изнутри — вот протокол. Что у вас против? Пустая касса? Покойный мог раздать деньги, спрятать, проиграть, пожертвовать на богоугодное заведение — он не обязан был согласовывать с вами расход. Пахнущая горечью наливка? Мало ли чем пахнет наливка у одинокого старика. У вас, милостивый государь, есть всё для законного окончания и ничего для продолжения.

— Прошу до понедельника, ваше превосходительство. Исследование наливки будет готово...

— Оно будет готово, — перебил Вельяминов, — и в нём будет написана какая-нибудь латынь, с которой прокурорский надзор спросит меня: на каком основании ваш чиновник заказывал исследование по делу, где есть врачебное свидетельство? Я двадцать два года подписываю бумаги, Морозов. Я знаю, как выглядит дело, которое кормит, и как выглядит дело, которое ест. Ваше — ест. — Он придвинул папку. — И ещё. Мне ведомо, что за люди приезжают из губер-

ний в столицу. Всем вам в первый месяц мерещится большое дело, на котором вас заметят. Так вот: замечают у нас не тех, кто ищет большие дела, а тех, у кого малые в порядке. До понедельника. В понедельник утром здесь лежит законченное производство. С любым содержанием, но за-кон-ченное. Ступайте.

В коридоре Морозов постоял у окна, глядя на казённый двор, где солдатик сгребал снег. Обидного в словах начальства не было — было наоборот: Вельяминов, сам того не зная, выдал ему рабочую инструкцию. «С любым содержанием, но законченное». Что ж. Содержание у него намечалось такое, что понедельника было жаль.

В субботу Штейн, воровато оглянувшись на дверь прозекторской, показал ему пробирку и лист, исписанный вдоль и поперёк:

— Неофициально — а официально я вам этого не показывал и вообще с вами не знаком: в наливке digitalis, доза лошадиная. В желудке — он же. Ваш закладчик выпил свою смерть из собственного графина, закусил рыбой и умер в креслах раньше, чем понял, что умирает. Аккуратнее я работы не видал. И упаси вас бог сослаться на меня раньше, чем у вас будет прокурорское требование: бумага без требования — это не улика, это донос на самого себя.

В субботу же, ближе к вечеру, принёс улов и Дроботов. Уселся напротив, набил трубку и стал выкладывать, наслаждаясь каждым словом, как выкладывают выигрышные кар-

ты:

— Ну-с, про тихого нашего. Кухарка генеральшина — душевная, между прочим, женщина, звать Феклушей — показывает: ходит Гришенька со двора затемно почитай кажную неделю, по четвергам более. Идёт не гулять: гулящие идут вразвалку, а этот — шасть, и нет его. А в четверг, стало быть, третьего дня, мой человек за ним прогулялся. И куда бы вы думали? На Разъезжую-с. Там лавочка свечная, Митрохина лавка, — так он, голубчик, к ней не в дверь, а сбоку, к ставню. Из-за пазухи — письмецо, и в щель за ставнем. Постоял, шапку поправил — и огородами домой.

— Кто взял письмо?

— А вот этого не углядели, — с сожалением признал Дроботов. — Мой до полуночи мёрз — никто не подходил. Утром щель пустая. Стало быть, вынули со двора либо изнутри. Лавка как лавка: Митрохин — старик сонный, торгует свечками да маслицем, отродясь за ним ничего. Только вот что я вам скажу, Александр Петрович: почта у нас в столице исправная, марка копейки стоит. Ежели человек письма по ночам в ставни суёт — стало быть, очень ему не хочется, чтобы на конверте адрес был.

— И давно он так ходит?

— Феклуша говорит — с осени. С осени, заметьте-с. — Дроботов поднял палец. — А путеец ваш камушек когда в карты выиграл? То-то и оно, что об ту же пору.

Второй заход был по аптекам. Морозов расписал Дробо-

тову задачу с вечера: все аптеки от Лиговки до Разъезжей, рецептурные книги за два месяца, digitalis — кому, по чьему рецепту, сколько. Дроботов вернулся к сумеркам, злой и довольный разом:

— Четыре аптеки обошёл, в трёх смотрели на меня, как на лешего, требовали бумагу. А в четвёртой, на Лиговке же, у Гольдберга, провизор попался молоденький, до бумаги не додумался. Есть запись-с. — Он расправил листок с выписанными каракулями. — Ноября двадцать девятого дня, настойка дигиталиса, по рецепту доктора Вишневецкого, для больного Пыжова А. К. Получал — вот тут держитесь за стул — приказчик его, «по доверенности хозяина», склянку большую. Провизор его и в лицо помнит: тихонький такой, вежливый, ещё справлялся заботливо, сколько капель можно, чтобы не повредить.

— А доктор Вишневецкий?

— А доктора Вишневецкого, — торжественно сказал Дроботов, — я нашёл тоже. Пользует на Николаевской, старичок. Пыжова Аристарха Кузьмича сроду не пользовал, фамилию слышит впервые, рецептов таких не писал, и бланк, говорит, ежели предъявят, — глядеть будет с интересом, потому как бланки у него из стола прошлой осенью пропадали.

Морозов сидел молча. Картинка складывалась — той стороной, которой он и ждал: рецепт краденый, склянка большая, вопрос про капли — заботливый. Оставалась дверь. Дверь, запертая изнутри, на которой держалось всё «сердце»

этого дела.

Ночью Морозов сидел у себя над замком.

Замок лежал на столе, выпотрошенный из двери вместе с куском коробки, рядом — ключ. Лампа коптила. За стеной у соседей стучали ходики. Морозов вертел ключ под светом и смотрел на царапины: тонкие, свежие, светлые, все с одной стороны бородки, все у самого края. Металл о металл. Не скважина оставила — скважина трёт по-своему, годами, тускло. Это было другое: что-то узкое и твёрдое хватало ключ за бородку и проворачивало. Снаружи.

Он видел такое. Не здесь — там, в прошлой жизни, в музее при училище, среди воровского инструмента прошлых веков: длинные щипчики с полым, развёрнутым зевом, «уистити», обезьянья лапка. Вставляется в скважину снаружи, обхватывает кончик ключа, торчащего изнутри, — и поворачивает. Дверь заперта изнутри, ключ в скважине, покойник один в комнате. Механика столетней давности — которой отсюда, из тысяча девятьсот двенадцатого, ещё лет двадцать до музея.

Морозов взял ключ, вставил в замок, а из проволоки от бутылочной оплётки согнул подобие захвата — грубое, на живую нитку. С четвёртого раза проволока ухватила бородку и провернула. На краю ключа осталась свежая светлая царапина — сестра тем, первым.

— Вот и весь ваш запертый изнутри, — сказал он замку.

Он посидел, разглядывая проволоку в пальцах. Инстру-

мент вышел дрянной, кустарный — а сработал с четвёртого раза у человека, который делал это впервые в жизни. У того же, кто запирал дверь Пыжова, инструмент был не дрянной: царапины на ключе лежали кучно, в два-три захода, без рваных промахов. Рука была набитая — или тренированная загодя. На собственной двери, например, вечерами, когда хозяин отсылал прочь. Времени у тренирующегося было — весь последний месяц, аккурат с тех пор, как Аристарх Кузьмич сделался «пужливый» и стал запираться за каждым посетителем. Запирался, бедняга, от улицы — а инструмент к его замку подбирали в двух шагах, за конторкой.

Дальше думалось уже само, только успевай раскладывать. Заперто снаружи — значит, гость. Гость, которого Пыжов впустил сам и с которым пил наливку, — значит, свой или званый. Наперстянка в графине — значит, гость знал, где графин стоит и что хозяин приложится; налить её можно было и загодя, не в тот вечер, — а склянку большую, «чтобы не повредить», взяли в аптеке Гольдберга ещё в ноябре, по бланку, украденному у доктора со стола. Кто знал порядки дома, привычку к наливке, устройство замка, кто мог войти и выйти, не удивив ни Пыжова, ни дворника? Круг получался тесный, как воротничок, и в середине круга стоял тихий услужливый человек, говоривший «не могу знать-с» ответами ровными, как новый гривенник.

Только вот в этом кругу не помещались двое: пустая полка и человек в хорошем пальто, который ходит, как землю не

любит. Лоскутов — если это Лоскутов — забрал бы кассу: деньги, вещь понятная. Но полка... Морозов прикрыл глаза и снова увидел её: длинное ровное зеленоватое пятно на досках, смазанное по краю — брали торопливо, на себя...

И тут его как током дёрнуло.

Он это уже видел. Не в лавке. Раньше. Тот же зелёный тлеющий свет, тот же смазанный след — на дверном косяке этой самой комнаты, в первый вечер, когда он очнулся на полу с разбитым виском и списал всё на удар по голове. Он медленно поднял глаза от замка. Косяк был тёмный, ночной, пустой — след давно угас. Но он там был. В комнате, где убили прежнего хозяина этого тела, — и на полке, откуда исчез заклад Пыжова, — светилось одно и то же.

По двум этим адресам ходил один человек. И один из этих адресов был — его.

Морозов сидел не шевелясь, пока лампа не начала стрелять копотью. Потом сказал вслух — тихо, в пустую комнату, тем ровным голосом, от которого плыли задержанные:

— Ну, здравствуйте, кто вы там есть. Значит, нас в этом деле трое.

Глава 5

В воскресенье с утра Морозов сделал то, чему научился за тридцать лет прежней службы и что не устарело, как выяснилось, ни на волос: перед тем как брать человека, он забрал его вещи.

Лоскутов снимал угол у сапожника на Воронежской. Пока Дроботов, предъявив сапожнику бумагу и палец у губ, держал хозяев на кухне, Морозов разобрал жильё приказчика — недолго, жилья было немного: койка, сундучок, гвоздь с одёжей. Сундучок был опрятен, как его владелец, и, как его владелец, имел второе дно — не хитрое, доска на пазах, но всё же.

Под доской лежали, завёрнутые в тряпицу: щипчики — длинные, самодельные, с зевом, развёрнутым воронкой, с натёртой до блеска латунью по внутренним губкам; склянка аптечная, тёмного стекла, пустая на две трети, с ярлыком «Tra Digitalis» аптеки Гольдберга; и деньги — не пыжовская касса, куда там, а сотни полторы мелкими, собранными явно не враз. А под деньгами — стопочка писем. Вернее, не писем: четвертушки серой бумаги, сложенные конвертиком, без адреса, без подписи, исписанные разными числами, но одной рукой — мелкой, ровной, чистенькой, знакомой Морозову по залоговым книгам. Черновики. Гриша Лоскутов был человек аккуратный: прежде чем сунуть письмо в щель

за ставнем, он его переписывал набело, а черновик — экий грех — жалел жечь.

Морозов сел на койку и прочёл все.

Читались они как опись, которую ведёт очень старательный и очень напуганный человек. «Сего числа принято: ризы серебряныя, вещь не та». «Портсигаръ съ каменьями, вещь не та». Неделями, месяцами — с осени: принято то, принято сё, вещь не та, вещь не та, вещь не та. И последняя четвертушка, от начала декабря, с датой за два дня до смерти Пыжова: «Принята вещь каменная, старая, тепла на ощупь. По всѣмъ примѣтамъ — та самая».

«По всем приметам — та самая». Стало быть, приметы Грише сообщили заранее. Стало быть, всю осень тихий приказчик сидел за конторкой не жалованья ради: он сторожил. Ждал, когда в лавку, куда несут что попало и не спрашивают откуда, принесут одну-единственную вещь. Тёплую на ощупь.

— Собирайте понятых, Кузьма Игнатьевич, — сказал Морозов, выходя на кухню. — И пошлите за Лоскутовым. Скажите — хозяйское имущество описывать, наследственное дело, нужна его помощь как знающего человека. Пусть идёт спокойный.

Допрашивал он его в отделении, в пустой комнате с одним столом, двумя стульями и окном на казённый двор. Так он допрашивал всегда: ничего лишнего, ничего громкого. Никакой папки перед собой — папка пугает рано, а пугать рано

расточительно.

— Присаживайтесь, Григорий... по батюшке как?

— Саввич, — сказал Лоскутов, присаживаясь на краешек. — Только я, ваше высокоблагородие, по описи мало чем полезен буду: хозяин меня к большим вещам не допускали-с...

— Не допускали, — согласился Морозов. — Недоверчивы были. Запирались за каждым посетителем. Это вы говорили. А скажите, Григорий Саввич, отчего человек, который запирается за каждым посетителем, пьёт наливку с гостем и не слышит, как у него в графине плещет лишнее?

— Не могу знать-с.

— Не можете. А отчего доктор Вишневецкий с Николаевской не может знать больного Пыжова, которому будто бы прописал дигиталис, а провизор Гольдберговой аптеки очень даже может знать приказчика, который тот дигиталис получал и заботливо справлялся о каплях?

Лоскутов моргнул. Один раз.

— Ошибка какая-нибудь-с. Мало ли приказчиков...

— Мало ли, — согласился Морозов тем же ровным голосом. Он вообще не менял голоса — ни на полтона. Он знал за этим голосом свойство, проверенное на сотнях людей: человеку под ним постепенно начинает казаться, что всё уже известно, всё взвешено и разговор идёт не о том, виновен ли он, а лишь о порядке оформления. — Мало ли. А склянка с ярлыком той аптеки, две трети как не бывало, отчего у вас в сундучке под вторым дном? А щипчики с воронкой — рабо-

ты, замечу, чистой, с терпением деланной — к какому ремеслу? Я их к пыжовскому замку приложил: губки в аккурат по бородке. И царапины на ключе в аккурат по губкам. Дверь-то, Григорий Саввич, заперта была изнутри. Это всё повторяют третью неделю: заперта изнутри, стало быть, Богу душу отдал. Вы и сами это говорили — помните, у окна? «Больше некому-с». А выходит — есть кому. Тому, кто запер её снаружи. Ключиком изнутри, щипчиками снаружи. Тихо, чисто и с запасом времени, потому что хозяин уже часа полтора как остыл в креслах и торопить не мог.

Он выложил на стол щипчики — не швырнул, положил, как кладут вещь на место. Потом склянку. Потом, помолчав, четвертушки серой бумаги, стопочкой, последнюю — сверху.

Лоскутов смотрел на серую бумагу. И Морозов увидел то, что видел много раз и по чему не ошибался никогда: человек кончился. Не закричал, не забожился — просто из него, как из мешка, вышел весь воздух, плечи сложились внутрь, и на стуле остался сидеть не тихий услужливый приказчик, а его чехол.

— Они говорили — никто не узнает, — сказал чехол шёпотом. — Говорили: ты только пиши, что приняли. Больше ничего не надо-с. Только пи-сать...

Дальше надо было не мешать. Морозов и не мешал — сидел, слушал и лишь изредка, когда рассказ начинал кружить, трогал его вопросом, как трогают багром бревно на воде.

Началось с осени. Подошёл человек — вечером, на улице, лица Гриша не разглядел, да и не смел: голос был такой, что разглядывать не хотелось. Мягкий голос. Сказал: служишь у Пыжова, к вам несут разное. Будешь писать, что приняли, — вот тебе на первое время. И приметы: вещь каменная, старой работы, тёплая. Писать всё подряд, класть за ставень у Митрохина. Платили в том же месте: заберёшь письмо-другое — под ставнем конвертик. Гриша писал. Страшно не было — что ж страшного, опись да опись, он и хозяину-то не вредил, так, поглядывал-с...

А в ноябре Аристарх Кузьмич нашёл черновик. Гриша обронил, старый, из тех, где «вещь не та». Хозяин был человек цепкий: неделю молчал, а после запер дверь на ключ, посадил Гришу напротив и объяснил ему расстановку. Что писать доносы про его лавку Гришенька больше не будет. А будет Гришенька писать то, что велит он, Пыжов, — потому что вещь, которой ждут «те», ежели она объявится, пойдёт не за ставень, а с торгов, которые Аристарх Кузьмич проведёт сам, и не с теми, так с другими: такой товар, за которым по осени ходят и деньги вперёд суют, дешевле дома стоить не может. А ослушается Гришенька — что ж, Аристарх Кузьмич отпишет «тем» сам, и отпишет так, что выйдет, будто приказчик их всю осень водил за нос и утаивал.

— Понимаете-с? — Лоскутов поднял на Морозова глаза, в которых стоял тот давний ноябрьский ужас, чистый, ничуть не выцветший. — Он меня им отдавал. Как вещь-с. Я неде-

лю не спал, всё считал: так — они меня, этак — он меня им, а сам — торговать с ними сядет... С ними нельзя торговать, ваше высокоблагородие. Я голоса ихнего один раз слыхал — с ними нельзя-с. И я решил: пусть лучше по-тихому, по-божески... сердцем-с. Он и не мучился вовсе. Я нарочно у провизора спрашивал, чтобы не мучился...

— А вещь? — спросил Морозов, выждав. — Вещь, Григорий Саввич, где?

— Не брал! — Лоскутов рванулся так, что стул скрипнул, и впервые за весь допрос в голосе прорезалось что-то живое, почти звонкое. — Вот вам крест, не брал и не касался! Я как хозяин... как они уснули — я письмо последнее дописал, что вещь та самая принята и стоит на месте, снёс за ставень, вернулся, дверь замкнул, как задумано, и домой! Она на полке стояла, я в лавку и не заходил! Я её и в руки-то взять... — он передёрнулся всем телом, — она же тёплая-с. Каменная — а тёплая. Пусть бы её брали, кому она надобна, я для того и отписал: придите и возьмите, и меня оставьте!

— И касса?

— И кассы не брал. Деньги в сундучке — те самые, из-под ставня, всё до копейки ихние... — он сбился, сглотнул, — копил-с. Уехать хотел. В Ригу-с.

Морозов молчал и смотрел на него. Он умел отличать, когда плывущий человек доносит правду, а когда пробует уплыть на ней в сторону, — и здесь, к большому своему неудовольствию, правду он и слышал. Лоскутов запер за со-

бой мертвеца, наливку и вещь. Кто-то вошёл после — в дверь, запертую на ключ, торчащий изнутри, — взял кассу, взял камень и вышел, не оставив на замке ни единой лишней царапины сверх Гришиных. Щипцами так не пройдёшь: Гришины следы Морозов знал теперь наперечёт. Тот, второй, прошёл иначе. Как — Лоскутов не знал, и по лицу его было видно: он и знать не хочет, он и думать туда себя не пускает.

Протокол писали до сумерек. Лоскутов подписывал каждый лист старательно, послушно, с видимым облегчением человека, у которого наконец отняли ношу. Когда его уводили, он в дверях обернулся:

— А только вы, ваше высокоблагородие... — Он замялся, подбирая. — Вы бы это... поостереглись бы-с. Вы в лавке тогда, при осмотре, на полку пустую глядели. Долго глядели-с, я приметил. А на ту полку, — он понизил голос до нитки, — глядеть не надо. Кто на неё глядит, тот, стало быть, видит. А кто видит — тех они...

— Уводите, — сказал Морозов конвойному ровно, а внутри у него на секунду сделалось холодно и пусто, как в нетопленой лавке.

В коридоре у выхода на скамье дожидался очереди чей-то задержанный — тёртый малый в поддёвке, карманник по виду и по повадке. Когда Лоскутова проводили мимо, малый проводил его глазами и спросил у конвойного с профессиональным интересом:

— Этого который допрашивал? Новый, высокий?

— Ну.

— То-то он белый идёт, как из проруби. — Малый поёжился с видом знатока. — Мне Гундосый про этого нового сказывал: он не бьёт, не кричит, а сидишь против него — и как на льду голым задом. Мороз, одно слово. Так и передай своим: Мороз пришёл.

Конвойный заржал. Дроботов, стоявший тут же у дверей, ржать не стал — он посмотрел на Морозова через коридор долгим, оценивающим взглядом старого надзирателя и сказал, как припечатал:

— А что. Мороз и есть.

Морозов сделал вид, что не слышал. По опыту он знал: клички не выбирают и не обжалуют. Их носят.

В понедельник утром на столе Вельяминова лежало законченное производство: убийство с целью сокрытия иного деяния, обвиняемый сознался, улики приложены по описи — рецепт, склянка, щипцы, замок, заключение об исследовании наливки, затребованное уже законным порядком. Вельяминов прочёл всё, от первого листа до последнего, дважды. Потом снял очки.

— Признание, — сказал он с чувством, с каким иные читают стихи. — Полное, собственноручно подписанное признание с вещественными доказательствами. Вот это, Морозов, я понимаю. Это — бумага. Об-ви-ни-тель-ная бумага. Учитесь... впрочем, вы, кажется, умеете. Что за история с ка-

кими-то письмами за ставнем — это в деле зачем?

— Мотив, ваше превосходительство.

— Мотив — страх разоблачения в пособничестве скупке краденого, — отчеканил Вельяминов, у которого всякая туманность немедленно кристаллизовалась в формулировку. — Так и пойдёт. А «неустановленные лица», которых испугался ваш приказчик, пусть остаются там, где им место: в показаниях запуганного отравителя. Прокурорский надзор любит ясность. Дело закрыто, Морозов. За-кры-то. Благодарю за службу.

Дело было закрыто. Об этом было доложено, записано и подшито.

По дороге из присутствия Морозов завернул в покойницкую — вернуть Штейну одолженную пробирку и слово. Прозектор выслушал про прокурорское требование, про признание и про то, что заключение теперь можно переписывать законным порядком, снял очки и некоторое время протирал их с необычной для себя тщательностью.

— Пятнадцать лет служу, — сказал он наконец, — и впервые переписываю «паралич сердца» на отравление не потому, что меня ткнули носом, а потому, что кто-то дослушал покойника до конца. Не обольщайтесь, Морозов, это не начало новой эры. Это случайность. Но случайность приятная. Заходите, когда у вас опять кто-нибудь умрёт слишком аккуратно. Судя по вашему носу — а нос у вас дурной, беспокойный, — ждать недолго.

Заглянул он и на Обводный, к солдатке. Севастьянов встретил его одетым по-дорожному, с новеньким чемоданом посреди комнаты, и доложил, не дожидаясь вопроса, что билет взят — только не в Лугу, а много дальше, к племяннице в Самару, и что о камне он более ни слышать, ни помнить, ни видеть его во сне не желает.

— Правильно, — сказал Морозов. — Об одном прошу: с дороги напишите. Просто, что доехали. Без обратного адреса можно.

— А ежели не напишу? — Путеец посмотрел на него, и оба помолчали над этим вопросом, потому что оба понимали, что он значит.

— А ежели не напишете, — сказал Морозов, — я буду знать, что искать пальто надо и в Самаре.

На лестнице его догнал севастьяновский шёпот — вслед, в спину, как крестят: «Храни вас бог, ваше высокоблагородие. Вы только на неё сами не глядите долго, на вещь эту, коли сыщете. Я глядел. До сих пор снится-с».

Вечером Морозов сидел у себя, и на столе перед ним лежало всё то, что в подшитое не поместилось. Пуговица костяная с обрывком нитки — с пола этой самой комнаты. Копия последней Гришиной четвертушки, снятая его собственной рукой: «По всем приметам — та самая». И рядом — письмо из бумаг прежнего хозяина, то, октябрьское, без подписи: «Приезжайте, не раздумывая. О квартире не хлопочите, комната будет приготовлена».

Вещь искали с осени — терпеливо, сетью, через купленного приказчика. С осени же в столицу вытащили из губернии незаметного сыскного чиновника, которому кто-то заранее приготовил комнату. В начале декабря вещь нашлась — и в ту же неделю чиновник умер у себя дома, тихо и с одного удара, а вещь ушла сквозь запертую дверь, оставив на полке след, который увидел во всём городе один человек. Тот самый, что очнулся на полу с чужими руками и разбитым виском.

Морозов ещё не знал, как эти нити завязаны. Но он двадцать лет учил молодых, что совпадений в его ремесле не бывает, есть недоследованные связи, — и не собирался делать исключение для собственного убийства.

Расследовать его придётся так, как он не работал никогда: без права задать вслух хоть один настоящий вопрос. Нельзя спросить, кто выхлопотал провинциальному чиновнику столичное назначение, — спрашивающий о собственном назначении человек подозрителен. Нельзя объявить розыск по приметам «ходит, как землю не любит». Нельзя предъявить никому ни пуговицу, ни серую бумагу, ни главную свою улику — зелёный след, который не видит больше ни одна живая душа и который сам он ещё третьего дня считал повреждением рассудка. У него было всё, что нужно сыщику, — жертва, место, вопросы, — и не было единственного, без чего сыщик не живёт: права вести дело. Что ж. Значит, дело будет житься без права. По ночам, между строк, чужими ру-

ками и своими глазами.

А ещё — он теперь знал это твёрдо — где-то в городе был человек, который умеет проходить сквозь запертые двери и оставлять после себя свет. Человек, который убил и не заметил, что убитый очнулся. Гриша сказал: кто видит — тех они. Фразу он не кончил, и правильно сделал.

Пусть это будет их ошибкой, подумал Морозов. Его в этом ремесле тоже долго считали слепым — целый один вечер.

Он придвинул лампу и положил серую четвертушку рядом с октябрьским письмом. Подержал так. Потом медленно, как поднимают карту, на которую поставлено больше, чем есть в кармане, поднёс оба листа к свету.

Бумага была та же.

Глава 6

Книга вторая. Гость с того света

Стояли святки — время, которое Морозов, человек в этом веке новый, оценил профессионально: неделя, когда весь город добровольно занимается тем, за что в остальное время платят гадалкам. Барышни топили воск, кухарки выбегали за ворота спрашивать имя у первого встречного, в гостиных вертели столы, и даже Дроботов, застигнутый у забора за подслушиванием, объяснил без тени смущения, что это к прибыли. На такой почве, отметил себе Морозов, слух о покойнице, гуляющей по купеческому дому, не просто расходился — он всходил, как тесто в тепле. Лучшей недели для привидения в календаре не существовало.

За месяц Петербург перестал быть для Морозова чужим городом и сделался городом малознакомым — разница, которую оценит всякий, кому случалось выживать на новом месте. Он выучил, где стоят городовые и где их не бывает; выучил цену извозчику от Сенной до Офицерской в оттепель и в мороз; выучил, что «сей минут» в трактире означает четверть часа, а «не могу знать» в канцелярии — «знаю, но бумаги не дам». Чужая подпись стала своей. Чужое лицо в зеркале перестало здороваться с ним по утрам как с посторонним.

Служба тоже устоялась. После пыжовского дела за Моро-

зовым закрепилась в отделении репутация особого рода: ему стали носить тихие смерти. Всё, что умирало без крика — в запертых комнатах, в чистых постелях, со свидетельством врача наготове, — Вельяминов теперь переправлял ему, сопровождая одним и тем же напутствием: «Посмотрите, Морозов. У вас на это рука». В устах начальника отделения это было высшей наградой, доступной без представления к чину.

А по ночам, которые никого не касались, Морозов вёл дело, не значившееся ни в одном журнале.

В первую же неделю января они с Дроботовым — уговорившись считать это спором на четверть ведра, поскольку бумаги на то не существовало и существовать не могло, — четыре ночи выстояли в тени напротив свечной лавки Митрохина на Разъезжей. Щель за ставнем была пуста. Никто не приходил ни к ней, ни от неё. Лавка спала, старик Митрохин спал, Разъезжая спала; не спали только двое взрослых людей на морозе, и один из них к третьей ночи начал высказываться о новых столичных веяниях в сыскном деле.

— Я, Александр Петрович, не ропщу, — говорил Дроботов, притопывая валенками. — Я одно спрошу: кого мы тут морозим, окромя себя? Гриша ваш в предварилке сидит, писать ему некому и не о чем. Стало быть, и ходить за письмами некому.

— Вот это я и проверяю, — сказал Морозов. — Ходят ли, когда писать некому.

— И как, ходят?

— Не ходят. И знаете, что это значит?

— Значит, дома сидят, в тепле, — с чувством сказал Дроботов, — как умные люди.

— Это значит, что им уже известно: писем не будет. Гришу взяли тихо, в газеты не попало, на Лиговке болтают вздор. А эти — знают. — Морозов смотрел на чёрную щель ставня, как смотрят на замолчавшего свидетеля. — Быстро знают, Кузьма Игнатьевич. Вперёд газет.

На пятую ночь он караул снял. Не потому, что разуверился, а потому, что понял: дверь, в которую он смотрел, уже закрыли с той стороны.

Было в этом январе и одно хорошее письмо — верней, открытка с видом самарского собора и тремя словами, писанными старательным чертёжным почерком: «Доехалъ. Живу. Благодарствуйте». Без подписи и без обратного адреса, как уговаривались. Морозов подержал её в руках дольше, чем требовали три слова. В его нынешнем деле, где приход состоял из серой бумаги, пуговицы и следов, которых никто не видит, самарская открытка проходила по графе редкой ценности: живой человек, оставшийся живым.

А наутро шестого января его вызвал Вельяминов, и по лицу начальника отделения было видно: принесло не рядовое.

— Ковригин, — сказал Вельяминов, — Савелий Лукич. Слышали?

— Мануфактура?

— Мануфактура, подряды и полтора миллиона годового

оборота. Первой гильдии купец. Сегодня в пятом часу утра найден мёртвым в собственном доме на Васильевском: упал с парадной лестницы. Врач семейный пишет — несчастный случай, удар, немолод, грузен, темно. Казалось бы, царствие небесное и наследственное дело. — Вельяминов побарабанил пальцами. — Но. Прислуга, Морозов, болтает. Болтает такое, что вчера уже смаковала половина Гостиного двора, а сегодня, я думаю, обе биржи: будто по дому у Ковригиных с Рождества ходит покойная первая супруга хозяина. Будто её видели. Будто сам покойный её видел и оттого в последнюю неделю был не в себе. Дом именитый, родня именитая, скандал — именитый. Мне звонили, — он поднял палец, — оттуда, откуда мне звонить не любят. Просили: тихо, быстро и чтобы никаких привидений. Поезжайте. У вас рука лёгкая на тихие смерти.

— Слушаюсь.

— И, Морозов. — Вельяминов снял очки. — В прошлый раз вы мне из свидетельства о параличе сердца сделали отравление. Это было своевременно. Но здесь — обратная задача, извольте это понимать. Здесь надо из бабьей болтовни сделать несчастный случай. Найдёте несчастный случай — прекрасно. Найдёте что другое — докладывать мне лично, прежде всякой бумаги. И бога ради, — он поморщился, — без наливок.

Дроботова он забрал с собой, и правильно сделал: пока извозчик вёз их через Николаевский мост, надзиратель успел

выложить о Ковригиных всё, что знал город, — а знал город, по обыкновению, больше, чем родня.

— Савелий Лукич — мужик был из настоящих: сам с лотка начинал, оттого и прижимист. Первая супруга, Вера Кирилловна, — из купечества же, характеру строгого; дом на ней держался, прислуга её боялась пуще хозяина. Третий год как померла — чахотка. Сын у них единственный, Аркадий Савельич, годов двадцати семи. Вот про сынка город говорит охотно-с: кутила. Не злой, говорят, и не глупый, а — лёгкий. Картишки, бега, актёрки. Отец его к делу приставлял дважды и дважды отставлял, а долги платил, хоть и со скандалом на весь Гостиный.

— А вторая жена?

— А вторая, — Дроботов значительно поднял бровь, — Зинаида Павловна. Год как в доме. Из докторских дочек, собой хороша, годами — сыну ровня, вот вам и картина маслом. Женился Савелий Лукич скоропостижно, родня фыркала, сын, сказывают, с отцом с той поры на ножах: при живой молодой мачехе наследство — вещь обидная, тут и считать не надо. Да-с, и ещё. — Он понизил голос до вкусного шёпота. — При молодой барыне состоит нынче духовный, прости господи, наставник. Магистр каких-то тайных наук, Кастальский по прозванию. По гостиным нынче мода: столы вертеть, с покойниками переговариваться. Так этот Кастальский у Ковригиных с осени вечера правил, и на Гостином божатся, что сам Савелий Лукич, старик тёртый, под конец

сиживал за тем столом. А теперь извольте: по дому покойница ходит. Оно, конечно, ваше высокоблагородие, я человек тёмный, — заключил Дроботов с достоинством, — но по моему тёмному разумению, ежели в доме завёлся магистр, то привидение — вопрос времени-с.

Дом Ковригиных стоял на Четвёртой линии — тяжёлый, в три этажа, с зеркальными окнами и подъездом, у которого дежурил уже не городовой, а околоточный надзиратель: масштаб покойного чувствовался даже в этом. Внутри пахло воском, еловой хвоей от святочных гирлянд, которые никто не решился снять, и тем особенным запахом богатого горя, в котором ладан мешается с валерьяновыми каплями.

Домашний врач, Аполлон Богданович, нашёлся тут же — немолодой, ухоженный, с профессиональной скорбью на лице и с готовым дипломатическим ответом на всякий вопрос. Да, пользовал семейство восьмой год. Да, Савелий Лукич был грузен, полнокровен, случались головокружения — в его лета обыкновенная вещь. Ночью, в темноте, на лестнице... прискорбно, но, увы, естественно.

— А что за капли вы прописывали ему в последнюю неделю?

Врач заметно поскучнел.

— Успокоительные-с. Бромистые. У Савелия Лукича сделалось... нервическое расстройство. Бессонница, тревожность.

— С чего?

— Помилуйте, откуда же мне...

— Аполлон Богданович, — сказал Морозов тем же ровным тоном, каким спрашивал про капли, — вас звали к нему наутро после того, как он ночью увидел в галерее свою покойную супругу. Об этом сегодня говорят в его собственной буфетной и завтра будут говорить на бирже. Мне интересно не то, что он видел. Мне интересно, что он вам сказал.

Врач помолчал, снял пенсне и сразу постарел на десять лет.

— Он сказал... — Аполлон Богданович оглянулся на двери. — Он сказал: «Вера приходила. Стояла и глядела. Стало быть, я что-то не так сделал, коли она глядит». И просил — заметьте, не капель просил. Просил никому не сказывать, что он спрашивал: бывает ли, чтобы душа возвращалась за... — врач замялся, подбирая, — за исправлением сделанного. Я, разумеется, отвечал как медик. Но спал он с той ночи со светом, это я знаю от камердинера.

Тело, слава богу, не тронули — местный пристав, наслышанный о звонках сверху, боялся дышать. Савелий Лукич Ковригин лежал у подножия парадной лестницы, на мраморных плитах, головой к нижней ступени, в халате поверх ночного белья, одна туфля на ноге, вторая — четырьмя ступенями выше. Лестница была дубовая, широкая, о двух маршах, с площадкой и поворотом; наверху, вдоль второго этажа, шла тёмная галерея с портретами.

Морозов начал, по обыкновению, не с тела, а с вопроса,

который задал себе молча: как падают с такой лестницы? Он поднялся, прошёл марш сверху донизу, посчитал ступени, потрогал ковровую дорожку — прижата прутьями наглухо, не скользит. Перила гладкие, широкие. Человек грузный, оступившись в темноте, катится, хватается, обдирает руки о прутья и балясины, останавливается на площадке — маршем ниже, но на площадке. Чтобы улететь до самого низа, через поворот, надо не оступиться. Надо очень спешить вниз — или получить хорошее ускорение наверху.

Тело подтверждало и не подтверждало. Ссадины на голенях — есть, о ступени. Руки — целые. Ни ободранных ладоней, ни сорванного ногтя, ни занозы. Падал и ни разу не схватился? Грузный пожилой человек, всю жизнь ходивший по этой лестнице, катится в темноте молча, как мешок, и не выбрасывает рук? Морозов присел у тела. Затылок был разбит — сильно, наотмашь; на нижней ступени, на дубовом ребре, темнело пятно. Всё сходилось и всё не нравилось. Он отметил это в ящик и поднял глаза.

И увидел свечу.

В стенной нише у поворота лестницы, на полке, где стояла фарфоровая пастушка, приткнулся подсвечник — медный, спальный, с колечком под палец. Свеча в нём была потушена и оплыла на сторону. Морозов поднялся к нише. Полка — выше плеча. Человек, бегущий ночью с лестницы, свечу роняет. Человек, падающий, — роняет тем более. Никто, спасающийся или гибнущий, не ставит подсвечник на полку вы-

ше собственной головы, аккуратно, рядом с пастушкой. Свечу сюда поставили. Потушенную. После.

— Чей подсвечник? — спросил он у дворецкого, состоявшего при осмотре тенью.

— Барина-с, — тихо сказал дворецкий. — Ихний спальный. Всегда при них на ночь.

— Так и стоял утром?

— Так и стоял-с. Мы не касались, пристав не велели-с.

Морозов спустился и в последнюю очередь — как всегда, в последнюю, чтобы глаз был уже наполнен фактами и не искал лишнего, — сделал то, ради чего, если по совести, и позвал бы себя на этот осмотр сам: медленно, от подножия лестницы до конца тёмной галереи, прошёл весь путь, глядя так, как умел глядеть в этом городе он один.

Дом был чист.

Ни на лестнице, ни на перилах, ни в галерее, ни у портрета первой хозяйки — строгой женщины в жемчугах, перед которым горела лампадка, — нигде не тлело ни искры того зелёного, тёплого, нехорошего света, который он видел на пыжовской полке и на собственном косяке. Морозов простоял в галерее минуту, другую, честно, до рези в глазах. Ничего. Обыкновенная богатая темнота: воск, пыль, старое дерево.

По всему выходило вот что, и он чуть не усмехнулся неуместности вывода: в городе Санкт-Петербурге имелся ровно один человек, способный установить достоверно, что привидений в доме Ковригиных нет. И человек этот стоял

сейчас в их галерее с казённой папкой под мышкой.

А привидение между тем видели. И не одна кухарка.

Семью он в этот первый день трогать не стал — только посмотрел, представляясь. Молодая вдова вышла к нему в чёрном, которое шло ей непозволительно; держалась прямо, отвечала тихо и коротко, глаз не прятала, а в глазах стояло не горе и не облегчение, а что-то третье, самое неудобное для сыска: страх, которому не подобрано имя. Сын, Аркадий Савельевич, — высокий, красивый, помятый — явился к концу осмотра, от него дохнуло вчерашним коньяком и сегодняшней содовой; на тело отца у лестницы он посмотрел, побелел непритворно и сказал непритворно же: «Господи. Как же так». А потом посмотрел вверх, на тёмную галерею, — и вот этот второй взгляд Морозов забрал себе в ящик целиком, потому что был он не сыновний и не испуганный. Он был — проверяющий.

Горничную Глашу — молоденькую, опухшую от слёз — он расспрашивал в буфетной, посадив к самовару: люди у самовара говорят на треть больше. Глаша, всхлипывая, показала: с самого Рождества по дому неладно. Сперва шаги слышали в галерее — лёгкие, «как не идёт, а несёт её». Потом Аграфена-кухарка видела в окне галереи со двора свет — «стоит и светится, белая». Потом сама Глаша, посланная за каплями, столкнулась: в конце галереи, у портрета, стояла барыня. Первая барыня, покойная Вера Кирилловна, — в белом, простоволосая, и от неё шёл свет, «неживой, зелё-

ненький». Глаша сомлела тут же на месте, капли разбила.

— И барин видел, — шептала она, комкая передник. — Сами видели-с, за три дня до смерти. Вышли ночью — и назад в спальню как не свои: серые, губы трясутся. Наутро доктора звали. А доктор что — капли... Барыню покойную дом не отпустил, вот что я вам скажу, ваше высокоблагородие. Она и забрала. Не хотела, чтобы...

Глаша осеклась и ушла в передник окончательно.

— Чего не хотела? — ровно спросил Морозов.

Из-за его плеча ответили — голосом сухим и чёрным, как головешка:

— Того не хотела, чтобы в её доме чужая хозяйничала.

В дверях буфетной стояла экономка — высокая старуха в тёмном, с ключами у пояса, с лицом, на котором сорок лет службы лежали, как лак: Секлетея Фроловна, при доме со времён первой хозяйки. Она посмотрела на Морозова без страха и без почтения, одним только правом старшинства, и сказала, как отрезала:

— А в ночь, как барину помереть, Вера Кирилловна в галерее стояла. Сама видела: стоит в конце, светится и рукой манит. — Экономка перекрестилась истово, дважды. — Манила, стало быть, за собой. Вот и доманила. Вы, господин чиновник, пишите что хотите, а только дом её — он своё взял.

Глава 7

Штейн встретил тело Ковригина как старого знакомого, о котором давно ходили дурные слухи.

— Наслышан, наслышан, — сказал он, обходя цинковый стол. — Купец, миллионы, привидение. Ко мне его, заметьте, привезли с двумя сопроводительными бумагами и одним телефонным звонком — это рекорд заведения. Звонили, чтобы я «не усердствовал сверх надобности». Я сорок лет не знаю, что такое надобность, поэтому усердствовал как обычно. Извольте слушать.

Слушать было что, хотя на первый взгляд всё пело в один голос с семейным врачом. Причина смерти — перелом основания черепа: затылком о дубовое ребро нижней ступени, пятно на ступени соответствует, час смерти — между двумя и четырьмя пополуночи. Сердце изношенное, но не оно. Хмельного — рюмка за ужином. Ядов нет, и Штейн, произнося это, поглядел на Морозова с ехидством: нет-с, милостивый государь, не всякий раз вам наливка.

— А теперь то, за что мне звонили зря, — сказал он, накрывая тело. — Руки. Целые руки, Морозов. Ни ссадины на ладонях, ни ушиба на предплечьях, ногти чистые. Человек, который катится с лестницы в сознании, хватается за всё: за перила, за прутья, за воздух. Это не храбрость и не выбор — это спинной мозг, он не спрашивает. Ваш купец падал, как

падает мешок с мукой: не защищаясь. Стало быть, либо он уже был без чувств...

— Обморок, — сказал Морозов. — Увидел на лестнице то, чего испугался, обмер и покатился. Так сегодня к вечеру будет говорить весь город, и заметьте, Эмилий Карлович, всех эта версия устроит: и семью, и врача, и моё начальство. Испуг — не убийца, испуг к суду не привлечёшь.

— Либо, — невозмутимо договорил Штейн, — без чувств его оставили ещё до лестницы. На темени, под волосами, есть кровоподтёк — небольшой, прижизненный, часа за полтора-два до смерти или ближе, форму не берусь определить: припухлость да и только. Врач ваш семейный его благополучно проглядел, потому что смотрел туда, куда смотрят все, — на пробитый затылок. Могло быть что угодно: ударился о притолоку, о полку... Могли и приложить, мягким и умелым. Доказать — не докажу. Записал — записал.

— Полтора-два часа до смерти, — повторил Морозов. — То есть человек получает удар по темени около часу ночи, а в третьем часу падает с лестницы и разбивает затылок.

— Или лежит без чувств эти полтора часа там, где его приложили, — сказал Штейн, — а с лестницы падает уже в том виде, в каком удобно тому, кто помогал ему падать. Это, милостивый государь, ваша грядка. Моя кончается на кровоподтёке.

Грядка была знатная. Морозов возвращался пешком, через мосты, и раскладывал по дороге то немногое, что уже

имелось: свеча, поставленная на полку заботливой рукой; целые руки; кровоподтёк под волосами; галерея, в которой ходит светящаяся покойница, не оставляющая — единственная во всём его новом мире — никакого следа. Последнее обстоятельство он ценил особо. Оно означало, что в доме Ковригиных работает не тот, кого он ищет по ночам. В доме Ковригиных работает кто-то попроще. Из плоти, крови и реквизита.

Прежде чем очерчивать круг, он восстановил ночь — по минутам, как привык, сведя показания прислуги в одну линейку. Ужинали в девять, барин был мрачен, выпил рюмку, не доел. В одиннадцатом часу разошлись; барин, по новому своему обычаю, проверил, горят ли лампы в коридорах, и заперся у себя во втором этаже. Камердинер Прохор спал через две двери и божился, что до часу читал жития и ничего не слыхал. Вдова — в своей половине, в другом крыле, при ней горничная за стеной. Аркадий воротился, по словам швейцара, «во втором часу-с, тихие-с» — швейцар отпер, принял шубу и более ничего не видел. Экономка — внизу, при кухнях. В четвёртом часу дворецкому, спавшему в антресолях, почудился «стук глухой, будто дрова свалили»; он послушал, не повторится ли, не дождался и уснул, за что теперь казнился в голос. В пятом часу истопник, шедший к печам, нашёл барина у лестницы — остывшего.

Линейка получалась дырявая, как решето: с часу до четырёх весь дом, по бумагам, спал, и каждый спал в одиночку,

без свидетелей, кроме горничной за стеной у вдовы. Морозов знал цену таким ночам. В такие ночи в домах не спит обычно ровно один человек, и как раз его в линейке не видно.

Вельяминову он доложился к вечеру первого дня — как было велено, лично и прежде бумаги. Начальник отделения выслушал про свечу, про целые руки и про кровоподтёк, не перебивая, потом долго протирал очки.

— Стало быть, несчастного случая у нас не выходит, — сказал он тоном человека, у которого не сошёлся годовой баланс. — А выходит у нас, Морозов, что? Купец первой гильдии, вокруг которого вертится стол, ходит покойница и переписываются миллионные завещания, падает с лестницы при содействии неустановленного лица. Вы понимаете, что это не дело, а фельетон? Что «Петербургский листок» за такое утроит тираж, а мне будут звонить уже не оттуда, откуда звонили, а выше?

— Понимаю, ваше превосходительство. Поэтому прошу: наружу — несчастный случай, следствие для порядка. Семье — соболезнование и никаких подозрений. Мне — неделю и полную волю внутри дома.

Вельяминов посмотрел на него поверх очков — долгим взглядом человека, прикидывающего, во что ему обойдётся чужая воля.

— Неделю, — сказал он наконец. — И, Морозов: ежели через неделю вы принесёте мне привидение, я вас самолично

переведу в архив. Разбирать дела о краже белья с чердаков. До конца дней.

Круг он начал очерчивать в тот же день, с вдовы.

Зинаида Павловна приняла его в малой гостиной, где всё было ново, светло и не отсюда — из другой жизни, которую молодая хозяйка успела завести в одном отдельно взятом углу старого купеческого дома. Говорила она тихо, разумно и на первый взгляд открыто; на второй взгляд Морозов отметил, что открытость её устроена, как хорошая витрина: всё напоказ и ничего в руки.

Про мужа — с теплом, которое не выглядело поддельным: «Он был мне добрый друг. Смеяться умел, это в его летах редкость». Про пасынка — сдержанно: «Аркадий Савельевич меня не принял. Я понимаю его и не сужу». Про последнюю неделю — с тем самым безымянным страхом в глазах: да, Савелий Лукич переменился. Не спал, запирался, велел на ночь зажигать лампы в коридорах. За два дня до смерти сказал ей странное: «Ежели со мной что — не вздумай отказываться. Она не за тем глядит, чтобы ты отказывалась».

— От чего — не отказываться?

— Я не поняла тогда, — Зинаида Павловна сжала платок. — А теперь... теперь, выходит, поняла.

Выходило вот что, и об этом Морозову в тот же вечер, потея и прося занести его слова правильно, поведал нотариус Бельский: за шесть дней до смерти Савелий Лукич Ковригин переменил завещание. По старому, трёхлетней давности, де-

ло и капитал шли сыну, вдове — вдовья часть и дом. По новому — всё оборачивалось едва не зеркально: торговый дом, паи и капиталы отходили жене, Аркадию же назначалось содержание, «доколе не выкажет усердия и постоянства», под опекой душеприказчиков. Бумага была составлена по всей форме, в здравом уме и твёрдой памяти, при свидетелях.

— Он объяснил вам причину?

Нотариус помялся, вытер лоб и сдался. Видно было, что рассказ этот жёг его изнутри всю неделю, а рассказать было некому: нотариусы, как исповедники, живут с чужими тайнами в одиночку.

— Савелий Лукич изволили выразиться... необычно. Я списал на расстроенные нервы. Они сказали: «Так надо. Вера так велела». Я осмелился уточнить, полагая, что речь о покойной супруге, — оговорка, бывает-с, вдовцы часто... А они посмотрели на меня и ответили: «Я, Модест Ильич, с ней третьего дня говорил. Не спорь и пиши».

— Третьего дня, — сказал Морозов. — То есть за девять дней до смерти. Где у нас был Савелий Лукич за девять дней до смерти, вечером?

Это установилось просто, по расспросу прислуги: за девять дней до смерти, на второй день Рождества, в доме Ковригиных был вечер. Узкий, для своих. С верчением стола. Правил вечер магистр Кастальский, и стол в тот раз, по словам дворецкого, стучал долго, а после сеанса барин заперся у себя и до утра ходил по кабинету — «слышно бы-

ло-с: ходят и ходят».

Так в деле, где привидение уже разгуливало по галерее, объявился второй потусторонний участник — говорящий стол, диктующий завещания. Морозов записал его в круг наравне с живыми.

Оставался магистр — и прежде чем идти к магистру с парадного хода, Морозов навёл о нём справку с чёрного. На Сенную он завернул в сумерках, соблюдая уговор: не сам в дом, а через мальчишку, запиской. Стеша вышла к нему в трактир напротив, в нижнюю залу, села, не снимая платка, и оглядела его с насмешливым удовольствием хозяйки, к которой пришли за товаром повторно:

— Никак опять тихая смерть, ваше высокоблагородие? Слыхала, слыхала. Весь город слыхал: у Ковригиных покойница гуляет. У нас на Сенной уже и божатся ею: вот чтоб мне Ковригинскую барыню увидать.

— Кастальский, — сказал Морозов. — Магистр. Что о нём знает Сенная?

— А Сенная, — Стеша усмехнулась, — знает его дольше, чем гостиные. Года четыре тому вертелся тут один — по трактирам фокусы казал, в три листика публику стриг, покуда не бит был. Козлов ему фамилия, из мещан. Потом пропал, а объявился — глядь, уже Кастальский, магистр, сюртук аглицкий, по гостиным столы вертит. Голос поставил, бороду завёл. Наши его видали на Невском — не признался, мимо прошёл, будто и не стриг никогда никого в «Золотом якоре».

— Один работает?

— Фокусник один не работает, — наставительно сказала Стеша. — При нём человечек состоит, Филей звать: и лакей, и подручный. Вот Филя-то по старой памяти на Сенной бывает: гужуется в «Якоре», когда при деньгах. А при деньгах он, замечу, с осени постоянно. — Она помолчала и добавила, уже без насмешки, ровно: — Только вы, ваше высокоблагородие, на Козлова-то шибко не заглядывайтесь. Он стригун, спору нет. Но наш стригун, понятный: стрижёт живых. С покойников ему шерсти нет. А в доме, где он нынче кормится, покойники, я чай, заводятся. Вы такое различаете?

— Различаю, — сказал Морозов. — Этим и жив.

— То-то, что жив, — непонятно сказала Стеша, поднялась и, уже отходя, уронила через плечо: — За Филей пришлю, ежели в «Якоре» объявится. С вас, как уговорено: моих не трогать. И заходили бы вы, что ли, не по делу когда... хоть поглядеть, каков контуженый в мирное время.

Живые же распределились так.

Аркадий Савельевич принял чиновника сыскной полиции стоя, посреди отцовского кабинета, в позе человека, решившего дерзить, — и продержался в ней минуты четыре. Долги? Долги есть у всех, это столица, милостивый государь. Завещание? Про завещание он узнал вчера от нотариуса, и оно, разумеется, будет оспорено, потому что диктовать деловые бумаги с того света — это, кажется, даже по нынешним снисходительным временам чересчур. Отношения с от-

цом? Обыкновенные отношения, отец крут, сын не ангел... Тут Аркадий сбился, потому что говорил уже не дерзостью, а правдой, и правда ему самому была тяжела:

— Мы с ним, извольте знать, в ноябре последний раз по-человечески говорили. Я пришёл мириться — верите, нет, — без копейки просьб пришёл, просто мириться. А у него сидел этот... магистр. И отец мне сказал: погоди, Аркаша, у нас сеанс. У нас — сеанс! — Аркадий засмеялся зло и коротко. — У отца моего, который в церкви-то стоял со счётами в голове, — сеанс! Вот когда я понял, что дом кончился. Его эта компания за полгода обвертела, как приказчик — провинциалку: сперва жена молодая, после — магистр, после — стол этот... а после и Вера Кирилловна ходить начала, очень вовремя, не находите? Только маменька моя, — голос у него вдруг сел, — маменька, господин чиновник, если б и вправду встала, она бы не по галереям шастала. Она бы им всем тут головы поотворотила. Начиная с магистра.

— Где вы были в ночь на шестое?

— В клубе, — сказал Аркадий, глядя в сторону. — До часу. После — дома, спал. Камердинер подтвердит, если не спал сам, а он спит, каналья, как убитый.

Экономка Секлетея Фроловна давать показания сидя отказалась — стояла, сложив руки под грудью, и смотрела на Морозова, как смотрят на дурную погоду. Про новую барыню: «Барыня как барыня. Не моя». Про магистра: «Нечисть балаганная». Про покойного: «Заблудился под старость. Ве-

ра Кирилловна ему тридцать лет была компас, а без компасу и корабль — дрова». Про призрака стояла на своём каменно: видела. В галерее. Светилась и манила. И прибавила, поджав губы, фразу, которую Морозов унёс с собой, как занозу:

— А что дом чужих не терпит — так это, господин чиновник, не я придумала. Это ещё при старой барыне известно было. Она, покойница, так и говаривала: из моего дома, Секлетеюшка, меня только вперёд ногами, да и то ненадолго.

К ночи Морозов сидел у себя и переписывал круг набело, по старой привычке — столбцом, от выгоды к выгоде. Вдова: получает всё — но получает по завещанию, которое ей выхлопотал говорящий стол, и ежели стол объявить жульничеством, теряет всё. Сын: теряет всё — и единственный в доме не верит ни в стол, ни в призрака, а верит, что отца «обвертели». Магистр: кормится от живого купца — мёртвый купец ему, по всей арифметике, убыток... если только не заплачено за самый убыток. Экономка: не получает ничего, ненавидит всех новых и одна во всём доме искренне рада, что покойница ходит.

А поверх столбца, никуда не помещаясь, лежали: свеча на полке, целые руки, кровоподтёк под волосами — и галерея, чистая от всякого света, кроме лампадки у строгого портрета.

Он посидел ещё над столбцом, приписывая сбоку то, чему в графах места не находилось. Что вдова боится — но чего: разоблачения или того же, чего боялся муж? Что сын соврал

про клуб — не фактом, так глазами: «до часу» он выговорил с разгона, а «спал» — уже под горку. Что экономка, сорок лет прослужившая дому, единственная говорит о призраке без страха — с гордостью, как о заслуженной собаке. И что купец, тёртый, прижимистый, со счётами в голове вместо молитвы, за девять дней до смерти поверил стуку в столешницу настолько, что перекроил дело всей жизни, — а за три дня до смерти увидел жену наяву и спросил у доктора не капель, а можно ли исправить сделанное. Что-то он такое сделал, Савелий Лукич, между столом и лестницей. Или что-то понял.

— Стол, значит, велел, — сказал Морозов лампе. — Что ж. Придётся послушать, как он разговаривает.

Глава 8

Подобраться к магистру оказалось делом нехитрым: магистр сам шёл в руки. Траур закрыл ему дом Ковригиных, но не сезон — вечера Кастальского продолжались в салоне генеральши Лахтиной на Сергиевской, и когда чиновник сыскной полиции испросил дозволения присутствовать «в видах охранения покоя почтенного семейства от кривотолков», генеральша пришла в восторг: полиция на сеансе придавала предприятию окончательную светскость.

Морозов шёл туда с двойным интересом: посмотреть на технику — и на публику. Техника его занимала профессионально. Публика — практически: где-то в этом кругу, среди вертящих столы, сидел человек, заплативший за голос покойницы.

Салон был полон. Публика подобралась именно та, какую Морозов и рассчитывал увидеть: три вдовы в дорогом чёрном, отставной сенатор с трясущейся головой, полковник с женой, барышни при маменьках, молодой присяжный поверенный, глядевший на всё с усмешкой и оставшийся, однако, до конца. Особая порода — столичная публика тринадцатого года: электричество провели, телефоны завели, автомобили гудят на Морской, а вечером те же люди сидят кругом стола и ждут стука с того света. Морозов их не судил. Он в своё время видел, как люди, у которых машина в ухе решала

за них любую задачу, платили деньги за то, чтобы им раскинули карты. Век на дворе меняется, подумал он, а щель между тем, что человек знает, и тем, чего он боится, не зарастает никаким прогрессом — и всегда найдётся, кому в эту щель поставить стол.

Магистр Кастальский оказался мужчиной лет сорока, статным, с породистой бородой и голосом глубоким, как колодец, — голос был поставлен без дураков, этим голосом можно было служить в соборе или продавать акции. Он вёл вечер с усталым достоинством человека, которого тяготит собственный дар. Свет пригасили, дамы сели кругом стола, руки цепью; Морозову досталось место чуть поодаль, у стены, — место наблюдателя, и оно его устраивало.

Дальше пошёл театр — добротный, без провинциальной грубости. Стол вздыхал, поскрипывал и стучал; стуки складывались в буквы, буквы — в утешения; вдовушка в третьем ряду плакала счастливыми слезами. Морозов, щурясь в полутьме, работал: отметил, что стучит не стол, а пол под ним, — звук шёл снизу, глухой; отметил, что магистр в ответственные минуты чуть отставляет ногу к ножке стола; отметил лакея у дверей — узкого человечка с постным лицом, который дважды, перед самыми эффектными стуками, поправлял портьеру. Филя, надо полагать. Ремесло как ремесло, подумал Морозов почти с облегчением: по-своему честный труд — публика платит за слёзы и слёзы получает.

А потом его ударило.

Не стуком и не голосом — светом. Дама напротив, худая, в чёрном, подняла руки к горлу поправить медальон, и медальон полыхнул. Знакомо полыхнул: зелёным, тёплым, изнутри — тем самым светом, которого не бывает, который он видел на пыжовской полке, на своём косяке и больше нигде и никогда. Свет был живой, свежий, он дышал вокруг овальной золотой коробочки, как дышит вода вокруг опущенной руки, и в полутёмном салоне, среди фальшивых стуков, смотрелся дико, как настоящий покойник на любительской постановке «Гамлета».

Полтора месяца Морозов ждал, когда это случится снова. Готовился: держать лицо, дышать ровно, глядеть сквозь. Всё было продумано у него на такой случай — кроме одного: что случится это не в тёмной подворотне и не на месте преступления, а в гостиной, полной народу, где на него в любую секунду могли смотреть двадцать пар скучающих глаз.

Морозов не заметил, как подался вперёд. Он смотрел — секунду, три, пять; дама почувствовала взгляд, вздрогнула, прижала медальон ладонью; сосед-полковник обернулся; и в наступившей неловкой тишине магистр Кастальский, мгновенно, как всякий хороший артист, подобравший упавшую реплику, произнёс глубоким колодезным голосом:

— Не тревожьтесь, господа. Дух коснулся нашего гостя. Так бывает с людьми, недавно стоявшими близко к смерти... Очень близко, — прибавил он, глядя на Морозова со значением, и по салону прошёл восхищённый шелест.

Хуже подставить себя Морозов не сумел бы и нарочно. Назавтра половина Сергиевской будет рассказывать, что полицейского чиновника на сеансе «коснулось»; послезавтра это дойдёт до Офицерской, и Вельяминов... о Вельяминове думать не хотелось. Он высидел до конца, любезно откланялся, на вопросы о пережитом отвечал, что стоял близко к печке, — и увёз с собой два приобретения: устройство магистровых стуков и медальон худой дамы, вспыхнувший в его памяти ярче всех столов. Даму звали, как выяснилось у швейцара, Ольга Дмитриевна Верейская; вдова инженера; медальон, по словам генеральшиной приживалки, «наследственный, от бабки, с чьим-то волосом». Морозов записал имя в тот ящик, где уже лежали пуговица и серая бумага. Не для этого дела. Для своего.

Худшие ожидания, к слову, сбылись в лучшем виде: слух о «коснувшемся духе» дошёл до Офицерской за двое суток, и Вельяминов, вызвав его будто по делу, долго перекладывал бумаги, после чего осведомился, не глядя:

— Морозов. Мне передавали... вздор, разумеется... будто вы на сеансе у генеральши Лахтиной имели... м-м... соприкосновение.

— Имел, ваше превосходительство. С печкой. Стоял близко, отступил резко, публика истолковала возвышенно.

— С печкой, — повторил Вельяминов с видимым облегчением человека, получившего пригодную для доклада формулировку. — Именно. Извольте впредь на подобных со-

браниях держаться от печек... от всего держаться. Чиновник сыскной полиции, к которому прикасаются духи, — это, Морозов, не чиновник. Это экспонат.

Филю взяли через два дня — по-стешиному, тихо: человечек загулял в «Золотом якоре», был опознан, выведен под локотки и доставлен не в участок, а в задворки трактира, где ждал Дроботов с лицом доброго дедушки. Ремесло у Фили оказалось нервное, здоровье слабое, а память отличная. К вечеру Морозов знал устройство предприятия «Кастальский и К⁰» до винтика.

Предприятие держалось на трёх ножках. Первая — техника: стуки давал Филя из-под пола или из-за портьеры, посредством снурка и колотушки, обшитой войлоком; на выездах — костяная пластинка в магистровом башмаке. Вторая — сведения: прежде чем духу заговорить, Филя неделю пил чай с прислугой дома и знал к сеансу всё: имена покойников, семейные язвы, кто на кого в обиде. Третья — тонкость, которой Филя гордился отдельно: магистр никогда не просил денег. Деньги приносили сами, после, «на учёные труды».

— А Ковригины? — спросил Морозов.

Филя увял. Ковригины были жила золотая, погибшая во цвете лет. Началось с барыни: молодая хозяйка позвала магистра осенью, скучала и робела в чужом доме. Филя, отряжённый по обыкновению пить чаи с прислугой, доносил хозяину картину дома в подробностях, и подробности эти Морозов теперь выслушал с отдельным вниманием. Что моло-

дую барыню в людской не любят, но жалеют: «сидит в своём углу, как постоялица». Что экономка Секлетея — «власть, почище барина: он деньгами командовал, а она — ключами и страхом». Что молодой барин Аркадий Савельич с осени зачастил в дом при том, что с отцом не разговаривал: придёт, наверху посидит — и вон; лакеи промеж собой дивились: к кому ходит-то? Что на чердаке — Филя там ночевал в засаде на привидение — «пыльно, холодно и следы: не мои-с, натоптано от слухового окна к дверце, и верёвка новая на балке висит, а к чему верёвка — неведомо».

Потом потянулся сам Савелий Лукич — сперва сидел в углу с насмешкой, после без насмешки, а после стал спрашивать. Про Веру Кирилловну спрашивать: сердится ли. Дух отвечал уклончиво-величаво, как положено.

— А про завещание дух с чьих слов заговорил?

Филя увял окончательно и посмотрел на Дроботова, ища заступничества. Дроботов сделал лицо ещё добрее — так, что Филя вздрогнул и заговорил.

Про завещание вышло так. В декабре, перед самым Рождеством, магистру доставили письмо. Не почтой — швейцару генеральши сунул посыльный мальчишка, из уличных. В письме — Филя его читал, он всякое хозяйское читал, должность такая — было прописано, чего дух Веры Кирилловны должен пожелать на ближайшем вечере у Ковригиных: чтобы Савелий Лукич «устроил судьбу той, кого дом ещё не принял», и чтобы «бумагу писал не откладывая». Слог был ба-

бий... или под бабий. А в письме лежали пять сотенных, и приписано: столько же после.

— Кто писал?

— Вот не знаю, ваше высокоблагородие, вот чем хотите... — Филя перекрестился с азартом. — Магистр сам гадал. Мы на барыню думали, на молодую: кому ж ещё. Только... — он замялся, — только магистр говорил: не сходится. Барыня — она к нему сама ходила, без чинов, ей письма писать не с руки, она бы на словах... И почерк: барынин почерк мы знаем, записочки бывали. Не её рука. Ровная такая рука, учёная, безо всякого форсу.

— Письмо где?

— Сжёг магистр. Вместе со вторыми пятью сотнями получил и сжёг: бумаги жечь — первое в нашем деле правило-с.

Оставался сам магистр, и разговор с ним Морозов провёл наутро, в номерах, где Кастальский стоял, — без чинов и без протокола, выложив на стол Филины откровения разом, чтобы не тратить время на колодезный голос. Дроботов напрашивался в компанию — «поглядеть, каков магистр без бороды-с», — но был оставлен при Филе: пуганый Филя, оставшись один, имел свойство вспоминать дополнительно. Голос, впрочем, пропал у магистра сам — вместе с бородой достоинства слезла и осанка, и перед Морозовым сидел умный, битый, смертельно напуганный шулер Козлов, который отлично понимал разницу между статьями о мошенничестве и об убийстве и торопился разместиться по первой.

Да, стол — техника. Да, письмо было, деньги были, текст духу — по письму. Он не видел беды: молодой вдове — капитал, старому мужу — покой, а что сын-кутила без миллиона останется, так магистру он не сват. Но дальше — дальше Козлов подался вперёд и заговорил быстро, трезво и зло:

— А теперь извольте послушать меня, господин чиновник, потому что я вам скажу то, чего ваш Филя не понимает по скудости. Мне смерть Савелия Лукича — нож. Я на нём имел вернее, чем банк на учёте векселей: он бы мне до лета трижды тот гонорар вынес, сам, «на труды». Мёртвый он мне — убыток, сыск в доме — разорение, а ежели завещание в суде повалят как надиктованное, — он ткнул себя пальцем в грудь, — валить будут через меня, и я это знал с той минуты, как письмо распечатал. Я, изволите видеть, деньги те взял и всякий день жалел. И ещё скажу, даром, для ясности отношений. Привидение ихнее — не моё. Я по галереям в саванах не бегаю-с: у меня инструмент — стол, публика сидячая, риску на грош. А эта тварь, что у них там светится и манит... — Козлова передёрнуло вполне натурально, — она мне два месяца дело портила. Клиент от неё шалел непредсказуемо: то к столу бежит, то от стола. Я Филю посылал дознаться, кто балует, — Филя две ночи на чердаке ихнем просидел, никого не поймал. Так что ищите, господин чиновник, кто в том доме работает окромя меня. И когда сыщете — поклон ему не передавайте.

Алиби у обоих стояло каменное: в ночь на шестое магистр

правил вечер у генеральши до второго часа, после чего в обществе двух почитателей и Фили ужинал в «Медведе» до пятого, о чём имелись счёт, швейцар и почитатели.

К вечеру Морозов подвёл итог, и итог был тот самый, которого он не любил больше всего: раскрыто всё, кроме дела. Мошенничество — вот оно, с техникой, с письмом, с гонораром. Завещание, надиктованное столом, — вот оно, готовое к оспариванию. Вельяминов, выслушав, даже оживился: вдова сговорилась с шарлатаном, шарлатан сознался, стройно-с! — и поскучнел на алиби и на козловской арифметике, которую Морозов изложил честно: этим двоим покойник был невыгоден, как никому в Петербурге. Оставалось письмо с пятью сотенными — единственный конец нити, уходивший из балагана куда-то в сумрак: кто-то, знавший про сеансы, пожелал ковригинским миллионам именно такой судьбы и заплатил за это чужим голосом. «Рука ровная, учёная, безо всякого форсу» — приметы на полгорода. А убийца — если он был — так и стоял в темноте наверху лестницы, никем не названный.

И ещё одно он записал в тот вечер — не в дело, а в свою тайную тетрадку, между пуговицей и серой бумагой: Верейская Ольга Дмитриевна, вдова инженера, медальон наследственный, «с чьим-то волосом». Навести справки — осторожно, погодя, не пугая. В городе, где он до сих пор встречал живой зелёный свет только рядом со смертями, вещица, спокойно дышащая этим светом на шее у салонной дамы,

значила одно из двух: либо не всякий след ведёт к беде — либо беда просто ещё не спохватилась. Оба варианта стоили справки.

Тупик был бы полный, если бы не одно занятие, которое Морозов оставил на самый вечер, — потому что для него требовалась темнота.

В темноте, с потушенной свечой, он в третий раз прошёл галерею ковригинского дома — медленно, вдоль стены, глядя не вперёд, а вбок и вверх, как учат смотреть в темноте. Того света, который он искал по привычке и втайне, — зелёного, живого, дышащего — не было и теперь: по этой части дом оставался чист, как приходная книга старообрядца. Зато в дальнем конце, там, где галерея упиралась в дверцу чердачной лестницы, обнаружился свет другого разбора.

По низу стены, за выступом карниза, куда не достигал глаз снизу, тянулась мазаная полоса — белёсая, мёртвая, ровная. Она светилась в темноте, но так, как светится вещь: снаружи, без дыхания, — и была положена аккуратно, в одну линию, старательной рукой, и уже подстёрта, подвыцвела, будто ей недели три. А на самой чердачной дверце, по ребру и на косяке, мазки лежали другие: свежие, яркие, широкие, с потёком книзу — рука мазала торопливо, в темноте, не заботясь о красоте, и мазала на днях.

Морозов достал нож, поддел и снял со стены крошку — из старой полосы. Потом с дверцы — из свежей. Обе крошки пахли одинаково: чесноком.

Фосфор. Театральная светящаяся краска — в галерее почтенного дома, за карнизом, где её не видно днём. Одна и та же краска — и две разные руки: одна готовила спектакль загодя, тщательно, как готовят надолго; вторая мазала наспех и недавно — перед самой премьерой, после которой хозяин дома остался лежать под лестницей. И над обеими, в вершке за дверцей, начинался чердак — тот самый, где Филя видел натоптанное от слухового окна и новую верёвку на балке, повешенную неведомо к чему.

Призрак в доме Ковригиных был рукотворный. И делали его — двое. Порознь.

Глава 9

Чердак ковригинского дома Морозов взял назавтра с утра, при свете, с Дроботовым и понятым дворником — всё по форме, потому что чуял: отсюда пойдут вещи, которым потребуется опись.

Чердак был как чердак: стужа, пыль, голубиный помёт, сундуки с прошлым. Но читался он, как хорошо сохранившийся протокол. От слухового окна к чердачной дверце шла тропа — натоптано многими ходками, и следы, отметил Морозов, присев, двух родов: большие, в мягкой обуви, без каблука — войлок; и поменьше, с каблуком, редкие. У самой дверцы, ведущей на галерею, доски были захватаны — здесь стояли, ждали, слушали. На поперечной балке у слухового окна висела верёвка — новая, пеньковая, с наскоро завязанным блочным узлом, а под ней, за стропилом, обнаружился свёрток, при виде которого дворник-понятой начал креститься со скоростью швейной машины.

В свёртке лежали: балахон из белой кисеи, длинный, с накидкой на голову, весь в белёсых пятнах, светящихся, надо полагать, в темноте; пара войлочных туфель огромного размера, надеваемых, судя по вытертости, поверх обуви; лёгкая крестовина из двух планок с накрученной на неё той же кисеёй — если растянуть, получалась фигура в рост, белая и бестелесная; и жестяная банка с остатками серо-белой пас-

ты, пахнущей чесноком на весь чердак.

— Вот вам и барыня-покойница, — сказал Дроботов, разглядывая крестовину с гадливым восхищением. — На верёвочку её, за окно галерейное спустить — со двора глянешь: стоит в окне, белая, светится. Аграфена-кухарка так и показывала: «стоит и светится». Тьфу, прости господи. А я, старый дурак, второй день спать плохо стал.

— Заметьте другое, Кузьма Игнатьевич. — Морозов присел над тропой следов. — Войлочные туфли — вот они, в свёртке, пара. Одна пара. А следов войлочных — две руки: эти вот, старые, притоптанные месяцами, аккуратные, шаг короткий, бабий. А эти — свежие, шире, шаг длинный, и носок внутрь: мужской шаг, непривычный к мягкой обуви, скользил. Обувались в те же туфли, поверх сапог — оттого и размер чудовищный. Театр один, а актёров в нём, выходит, играло двое. И вторая смена заступила недавно.

— Опишите всё, — прибавил он, поднимаясь. — И банку отдельно. Банка нам сейчас дорогу покажет.

Дорога от банки нашлась к вечеру. Краску такую — «светящийся состав для театральных надобностей» — держали в Петербурге считанные лавки; Дроботов обошёл три и в четвёртой, на Караванной, где торговали гримом, париками и прочим маскарадом, попал в жилу. Приказчик, юркий и памятливый, состав свой знал и покупателей помнил, потому что брали его редко:

— С осени, извольте видеть, три покупки-с. Дважды —

дама пожилая, из простых, тёмно одета, строгая: в октябре банку и в декабре банку. Не назвалась, платила молча. А третья покупка — аккурат на святках, числа третьего-четвёртого: барин молодой, из хороших, торопливый такой. Последнюю банку взял. И, забавно-с, спрашивал, как разводить и скоро ли сохнет, — дама-то не спрашивала никогда.

Морозов выложил на прилавок фотографическую карточку — семейную, из ковригинской гостиной, где Аркадий Савельевич стоял за креслом отца, молодой и парадный.

— Они-с, — сказал приказчик, ткнув пальцем без всякого колебания. — Вот этот. Только небритые были-с и без парадности.

Вторая нитка порвалась ещё проще. В клубе, где Аркадий, по его слову, сидел в ночь смерти отца до часу, старшина поднял книги: господин Ковригин-младший в тот вечер записан не был, за столами не значился, и швейцар, знавший его в лицо, как знают должников, показал твёрдо: не приходили-с. Ни в тот вечер, ни за три дня до того. Морозов принял это без удивления: «в клубе до часу» с самого начала было сказано с разгона, как заученное. Швейцар же ковригинский стоял на своём: барин воротился во втором часу, тихий. Где молодой человек провёл вечер и половину ночи накануне отцовской смерти — в этом месте показаний начиналась ровная белая пустота.

Между Караванной и клубом уложилось ещё одно установление — из тех, что переворачивают дело вверх дном ти-

хо, без грома. Морозова не отпускало письмо, полученное магистром: «рука ровная, учёная, безо всякого форсу». Вдова отпадала — Филя знал её записочки. Сын? У Морозова лежали образцы и его руки — записки к отцу из бумаг покойного: почерк размашистый, барский, с форсом как раз. И тогда, следуя правилу перебирать всех, кто умел писать, Морозов принёс Филе лист из конторской книги торгового дома — той, что Савелий Лукич вёл собственноручно, по старой привычке не доверять итоги никому.

Филя глянул — и просиял узнаванием раньше, чем успел сообразить, что узнавать тут страшно:

— Она-с! Вот же она, рука! Ровненькая, учёная... я ж говорю: безо всякого форсу! Эта самая рука в письме была, вот вам...

Он осёкся, поняв. Морозов забрал лист. Выходило то, чего не выдумал бы ни один сочинитель фельетонов: письмо магистру, с пятью сотенными и наказом, чего должен пожелать дух Веры Кирилловны, написал сам Савелий Лукич Ковригин. Старый купец, тёртый и прижимистый, подкупил духа собственной жены, чтобы тот вслух, при свидетелях, велел ему сделать то, что он давно решил сам и на что сам себе не давал разрешения: отписать всё молодой. Ему нужна была не воля покойницы — ему нужна была её санкция. Чтобы не он обидел сына, а она распорядилась. Чтобы грех лёг на стол.

А потом призрак — которого он сам, выходит, косвенно и оплатил, потому что уверовал-то он через экономкин театр,

— призрак пришёл снова. И глядел. И старик, вернувшись из своей ловко устроенной сделки с того света, увидел в этом взгляде не разрешение, а счёт. «Стало быть, я что-то не так сделал, коли она глядит». Морозов вспомнил и другое, из показаний нотариуса, отпущенное тогда без внимания: Савелий Лукич просил Бельского быть у него в понедельник, по делу, о коем не сказывал. В понедельник. В ночь на который и умер.

Оставалась экономка. К ней Морозов пошёл сам, один, под вечер, и разговор повёл не в людской, а в галерее — нарочно, у чердачной дверцы, положив на подоконник перед ней банку с Караванной и уголок белой кисеи.

Секлетея Фроловна смотрела на эти предметы долго. Лицо её, лакированное сорока годами службы, не переменилось — переменилась спина: из неё ушёл стержень, и стало видно, что экономка стара.

— Моё, — сказала она наконец, просто и страшно. — Балахон мой, туфли мои, краску я на Караванной брала. Пишите, господин чиновник. Только допрежь писания — выслушайте, а то в бумагу правда не влезет, я бумаги знаю.

И Морозов выслушал — стоя в стылой галерее, под строгим портретом, историю о том, как сорок лет службы не помещаются в расчётную книжку. Как дом, поднятый Верой Кирилловной, за год расселся: новая хозяйка — «не злая, нет, хуже: никакая, гостья», хозяин — размяк, магистр — вьёт из него верёвки, а сын — отрезан, и всё, чему Секле-

тея служила, поехало под откос. И как на Покров, перебирая сундуки покойной барыни, она нашла тот кисейный полог — и придумала. Не корысти ради, господин чиновник, пишите как хотите: ради острастки. Чтобы гостья не зажилась. Чтобы хозяин опомнился и магистра — за порог. Ходила ночами, светилась, стучала каблучком барыниным — а после и фигуру за окно спускать наловчилась. И вышло поначалу лучше задуманного: гостья по ночам плакала, хозяин задумался...

— А потом? — спросил Морозов, когда она замолчала.

— А потом, — экономка подняла на него глаза, и в них впервые стоял не лак, а голый старушечий страх, — потом оно из рук ушло. Барин-то не гостью гнать стал — он к магистру за столы сел, у духа прощенья просить. Завещание переписал — я-то думала, он его сыну назад отписывает, а он... И я зареклась. Вот вам крест, на самое Рождество зареклась: убрала всё на чердак и хожу не стала. Две недели не ходила. А оно, — она перекрестилась на портрет мелко, по-старушечьи, — оно ходить не перестало, господин чиновник. Я в ту ночь, как барину помереть, своими глазами: стоит в конце галереи, белая, светится и рукой манит. Я балахон свой в сундуке заперла — а она стоит. Вот тогда я и поняла, что докликалась. Настоящую докликалась. Пишите теперь.

— Не докликались, — сказал Морозов. — Краска на чердачной дверце свежая, мазана на святках. Банку последнюю третьего дня перед смертью хозяина купили на Караванной. Не вы.

Экономка смотрела на него, шевеля губами. Он видел, как за старым лбом тяжело поворачивается новая мысль — и как старуха, поворотив её до конца, побелела вторым, худшим страхом: не перед покойницей.

— Кто? — спросила она шёпотом.

— А вот это, — сказал Морозов, забирая с подоконника банку, — вы мне сейчас поможете понять. Вспоминайте. Кто с осени бывал в доме наверху, кому вы, может статься, сами показывали, жаловались, объясняли... Кто знал про ваш театр, Секлетея Фроловна? Про верёвку, про фигуру, про то, в котором часу и где ходит привидение?

Молчание стояло долго. Лампадка потрескивала у портрета. Старуха стояла, глядя на строгую женщину в жемчугах, и Морозов не торопил: он видел, что происходит за лакированным лбом, — там сорок лет службы, из которых последние месяцы держались на единственной вере, что дом мстит сам, сейчас пересчитывались заново, и в новом счёте дому мстил кто-то из своих, чужими, её руками сшитыми средствами. Такой пересчёт скоро не делается.

Потом экономка сказала — тихо, в пол, с ненавистью к собственным словам:

— Аркадию Савельичу показывала. В ноябре ещё... Он пришёл — смурной, ко мне на кухню, как маленьким хаживал. Сидел, молчал. А я, дура старая, пожалела: не убивайся, говорю, недолго гостье хозяйничать, дом её не примет... и показала. Похвастала-а-ась, — она вытянула это слово, как

занозу, и закрыла глаза. — Он ещё смеялся. Ай да Секлетеюшка, говорит. Ай да театр. Никому, говорит, ни слова — пусть работает.

Белую пустоту вечера Аркадия Дроботов к ночи закрасил наполовину: половой из трактира «Волна», что у перевоза на Васильевском, показал, что молодой Ковригин — его тут знали — сидел в тот вечер один, в углу, с девяти и за полночь, пил много, не буянил, на половых не смотрел, а смотрел в окно, на свою же линию. Расплатился, не считая. Ушёл пешком. От «Волны» до отцовского дома было восемь минут шагом — Морозов прошёл и смерил. Человек, сказавшийся в клубе, весь вечер просидел в кабаке в двух кварталах от дома, глядя в его сторону, — так сидят не кутилы. Так сидят перед делом, на которое не хватает духу, и наливают, пока не хватит.

И ещё одно доделал Морозов в тот день — сам, в пустом доме, с разрешения пристава: прошёл ночь покойного по воску. Спальная свеча Савелия Лукича, с которой он вышел в свой последний час, должна была где-то капать, и она капала: две капли у дверей спальни, капля в коридоре, три — на ковровой дорожке галереи, у поворота, где дорожка глушит шаг. Дальше капель не было — до самой ниши у лестницы, где подсвечник ждал его аккуратно потушенным. Выходило: старик со свечой дошёл до середины галереи — туда, где против него, в конце, у чердачной дверцы, стояло и манило белое, — и там свеча гореть перестала. Там же, в

двух шагах от восковых капель, за выступом, Штейнов кровоподтёк и получил своё место: мягким и умелым, по темени, в темноте, наставшей сразу после свечи. Полтора-два часа, сказал Штейн. Полтора-два часа старик лежал на ковровой дорожке собственной галереи, а кто-то в доме ждал глухого часа, чтобы снести его вниз и уложить у ступеней — затылком о дубовое ребро, для верности и для доктора. И, уходя, машинально прибрал: поднял подсвечник и поставил на полку. К пастушке. Аккуратность, подумал Морозов, вот что вас губит, господа. Ваши руки помнят порядок даже тогда, когда голова занята смертью.

В тот вечер Морозов доложился Вельяминову: есть покупка краски, опознание, ложь об алиби, показание экономки. Прежде того он, впрочем, сделал ещё одно — из тех дел, которые в отчёт не пишутся: заехал к вдове и сказал ей, что дом её больше не посещаем, что белое в галерее сшито из кисеи и обмазано краской с Караванной и что бояться ей нечего. Зинаида Павловна выслушала, села и заплакала — некрасиво, в голос, как плачут не от горя, а от отпущенного страха. Плакала долго. Морозов постоял, подал воды и подумал, что за месяц службы в этом веке это, кажется, первое, что он сделал для живого человека, а не для дела. Начальник отделения выслушал, снял очки, долго глядел в стол и произнёс фразу, в которой служебного было меньше, чем человеческого:

— Сын, стало быть. Миллионное дело, говорящие столы, привидения на верёвочке — а на дне всё то же, что при царе

Горохе: наследство. Берите завтра с утра, тихо. Формула — «для дачи объяснений». И, Морозов... дожмите с признанием. С таким составом улик присяжные любят, чтобы вслух сказано было.

Ночь Морозов рассчитывал употребить на подготовку допроса — он всегда готовил допросы, как готовят операции, по минутам, — но городу было угодно распорядиться иначе. В одиннадцатом часу, когда он раскладывал листы, в окно снизу свистнули: стешин мальчишка, посыльный, приплясывал у ворот без шапки.

— Велено передать, — выпалил он, — от хозяйки: на Разъезжей горит! Лавка свечная горит, Митрохина! Хозяйка велели: беги духом, скажи — ему любопытно будет!

До Разъезжей Морозов доехал, когда всё было в разгаре: пожарные раскатывали рукава, толпа чернела полукругом, и свечная лавка Митрохина — тихая, сонная, с заветной щелью за ставнем — горела вся, целиком, ровным, старательным огнём, какой не бывает от лампадки. Она горела, как горят по заказу.

В толпе он нашёл брандмейстерского помощника и спросил о хозяине: жив. Старика вывели соседи, сидит у дворника, цел, только угорел малость. Занялось, говорят, разом и с двух концов — со двора и от ставней; керосином несёт на всю улицу, да в свечной лавке керосином и должно нести, поди докажи. Морозов кивнул и остался стоять. Огонь работал споро и заканчивал за него всю его ночную арифметику:

ни ставня, ни щели, ни лавки. Кто-то подводил черту под целой главой — аккуратно, по-хозяйски, не пожалев керосину.

Морозов стоял в толпе, смотрел, и жар трогал ему лицо через морозный воздух. Дверь, в которую он месяц назад смотрел четыре ночи подряд, теперь закрывали с той стороны окончательно — гвоздями из огня.

Опоздал, подумал он спокойно и холодно. Не к пожару опоздал. К ставню. И тут же, второй мыслью, отметил себе на завтра единственное, что огонь пока не съел: старика. Старика, который эти ставни отворял и затворял двадцать лет.

Глава 10

Старика Митрохина Морозов навестил в семь утра, раньше службы, — у дворника в подвале, куда свечника снесли ночью и уложили на сундук.

Митрохин был жив, черноват от копоти и совершенно спокоен той стариковской окончательной спокойностью, за которой не остаётся уже ни имущества, ни планов. На вопросы отвечал охотно. Да, ставень тот. Да, клали в щель бумажки и брали бумажки, годов пять как. Кто? А кто клал, того он не видал: клали ночами, ему и знать не велено. А кто брал — брал он сам, Митрохин, и сам же выкладывал ответные конвертики. Ему за то платили пятнадцать рублей в месяц, аккуратно, первого числа.

— Кто платил?

— Барин ходил, — сказал старик и закашлялся. — Раз в месяц, к вечеру. Молчаливый барин. Лица не скажу, ваше высокоблагородие, не обессудьте: у меня в лавке темно, я и днём-то на свет гляжу, а он завсегда против света становился. Голос тихий. Возьмёт бумажки — расписки не даёт, деньги оставит и уйдёт. С Рождества не ходил, а вчера, стало быть, пришёл. И то не сам: постучали в ставень, я отпер, гляжу — никого, а на снегу конверт. Пятнадцать рублёв и записка: «Благодарствуем, довольно». Я деньги в карман положил, лёг спать. А в третьем часу — гудит.

— Что-нибудь при нём приметное было? У молчаливого барина.

— Перстень, — сказал Митрохин сразу, как будто ждал этого вопроса пять лет. — Перстень у него был, ваше высокоблагородие. Поверх перчатки надет. Мне оно диво: и зимой в перчатке, и перстень поверху — не по-людски. Тёмный камень, гладкий, а под свечкой... — старик пожевал губами, подбирая, — а под свечкой ровно бы тёплый. Не блестит, а будто изнутри мокрый.

Морозов записал это дословно и вышел на улицу, где над Разъезжей стоял чёрный столб дыма, схваченный морозом в струну. Пятнадцать рублей в месяц. Пять лет. Не в декабре начали и не с Пыжова: сеть стояла в этом городе с прежних времён, и щель у свечной лавки была одной из её ячеек — а вчера сеть за собой прибрала, аккуратно рассчитавшись со стариком за месяц вперёд. Так поступают не бандиты. Так поступают хозяйства.

Аркадия Савельевича Ковригина взяли в девять утра, дома, тихо, «для дачи объяснений».

Перед тем Морозов полчаса просидел один в пустой комнате, где предстояло говорить, и разложил дело по порядку, как раскладывают инструмент: что показать первым, что вторым, где промолчать. Он готовил допросы всю жизнь и знал главное правило, которому в двух веках не нашлось замены: человека ломает не улика, а порядок улик. Улика поодиночке — спорна, и всякий обвиняемый это чувствует. А

улики, положенные подряд, в одну линию, создают в голове у человека ощущение, что говорящий уже был там, внутри его ночи, и видел всё сам. После этого признание становится не поражением, а облегчением.

Дроботов, помогавший раскладывать бумаги, к перстню вернулся сам — он с утра ходил под впечатлением от митрохинских показаний:

— А всё ж таки, Александр Петрович, поверх перчатки — это не по-господски и не по-воровски. Это, я вам скажу, по-жреческому как-то. У нас на Волковом раскольничий начётчик был, тот тоже крест поверх всего носил, чтоб при себе, а не под спудом.

— Или чтобы касаться, — сказал Морозов, не поднимая головы от листов. — Не показывать, Кузьма Игнатьевич. Касаться. Есть вещи, которые надевают не для красоты, а чтобы они были в руке.

— А от такого, — Дроботов помолчал, — вы бы, ваше высокоблагородие, поберечься не думали? Митрохин старик тёмный, а сказал точно: против света становился. Кто в лавке против света становится, тот, значит, знает, что лицо — улика.

Допрашивал его Морозов в той же пустой комнате с окном на казённый двор. Аркадий вошёл злой и приготовившийся: он всю дорогу настраивал себя на крик, на оскорблённое дворянство духа, на «извольте предъявить», — и весь этот запал ушёл у него в песок в первые минуты, потому что

кричать было не на кого. Против него сидел человек, который не кричал.

— Я не буду спрашивать, где вы были в ночь на шестое, — сказал Морозов, — потому что вы уже сказали неправду, и мы оба знаем, что клуб отпал. В «Волне» у перевоза вы сидели с девяти и за полночь, один, у окна, лицом к своей линии. Половой вас знает. Расплатились не считая. Меня интересует другое, Аркадий Савельевич. Вы что тогда пили — для храбрости или для того, чтобы не пойти?

Аркадий открыл рот и закрыл.

— Я вам покажу вещи, — продолжал Морозов, — и по каждой скажу, откуда она. Вот банка, — он поставил на стол жестянку с Караванной. — Светящийся состав, лавка на Караванной, куплен на святках. Приказчик опознал вас по карточке без колебаний, вы ещё спрашивали, скоро ли сохнет. Вот кисея и туфли с чердака вашего дома. Экономка Секлетея Фроловна показывает, что балахон, туфли и первые две банки — её, что она ходила по галерее с Покрова и что на Рождество зареклась и всё убрала. И показывает, что в ноябре хвасталась вам своим театром и что вы сказали: никому ни слова, пусть работает. Вот следы на чердаке: две пары, женская притоптанная и мужская свежая, шаг длинный, носок внутрь — обувались поверх сапог. Вот воск: ваш отец со свечой дошёл до середины галереи и там свеча погасла. Вот заключение прозектора: под волосами на темени — прижизненный кровоподтёк, полученный часа за полтора-два до

смерти, и целые, нетронутые руки — падавший не хватался, потому что не мог. — Он выложил последний лист и положил на него ладонь. — А теперь я вам скажу, чего у меня нет, чтобы вы не тратили силы на догадки. У меня нет свидетеля, который видел бы вас на галерее в ту ночь. Такого свидетеля нет и не будет.

Он замолчал. Аркадий смотрел на разложенное перед ним хозяйство и дышал часто, как загнанный.

— Тогда... — выговорил он, — тогда что вам от меня надо?

— Мне надо, чтобы вы сами рассказали, как всё вышло, — сказал Морозов ровно. — И вот почему. Через две недели прокурорский надзор соберёт это в обвинительный акт, и в акте будет написано простое: сын, лишённый наследства, для получения оного напугал отца до обморока и снёс его вниз, к ступеням. Присяжным этого хватит. И это, Аркадий Савельевич, будет неправда. Не потому, что вы невиновны, — вы виновны. А потому, что было по-другому, и я, кажется, единственный человек в этом городе, которому ещё интересно, как именно.

Странная вещь: он говорил чистую правду, а действовало это сильнее любой хитрости. Морозов знал за собой это свойство и не гордился им. Люди, которых берут за горло уликами, держатся долго. Люди, которых спрашивают, как оно было на самом деле, ломаются сразу — потому что им и самим невыносимо носить в себе неправильную версию соб-

ственной жизни.

Аркадий заплакал — сухо, без слёз, одним лицом. А потом стал говорить, и говорил час с лишним, и Морозов не перебивал.

Всё вышло скверно и глупо, как выходит почти всегда. С осени он видел, как отца обирают: сначала стол, потом магистр, потом эта женщина — «я про неё дурного сказать не могу, вот в чём мерзость, она не хищница, она просто оказалась в нужном месте». Он ходил в дом наверх — не к отцу, к Секлетее, на кухню, как маленьким. И когда старуха ему похвасталась своим призраком, он сначала смеялся, а после подумал: а ведь работает. Отец от белого в галерее делался тише, задумчивее, начинал говорить о покойной матери, о том, что не так жил.

— Я решил: она его вернёт, — сказал Аркадий. — Понимаете? Не деньги. Его. Мать бы его вернула, живая. И раз уж он в это верит... я подумал: пусть маменька с ним поговорит. Пусть она ему скажет: опомнись. А тут Секлетея на Рождество перепугалась и всё бросила — как раз когда он завещание переписал. И я взял её дело себе. Купил краску, полез на чердак. Я хотел одного, господин чиновник, вот вам крест: чтобы он одумался и позвал нотариуса. Про наследство — да, думал. Не стану врать, что не думал. Только это было третье, а первое — что я его вернуть хотел.

В ночь на шестое он вышел на галерею в третий раз. Отец выходил на это белое каждую ночь: стоял, крестился, разго-

варивал. Аркадий стоял в конце галереи в кисее, поверх сапог — войлочные туфли, чтобы шаг был мягкий, — и манил рукой, как манила экономка.

— И он пошёл, — Аркадий смотрел в стол. — Он раньше не ходил, он стоял. А тут пошёл — прямо на меня, со свечой, быстро, и говорит: «Верушка, погоди, я всё исправлю, я уж и за Модестом послал, в понедельник...» — и идёт. Я — назад, к дверце, а он идёт. Он бы меня узнал через три шага, понимаете? Со свечой. И я... — Аркадий поднял руки и посмотрел на них, — я дунул на свечу. Он в темноте оступился и ударился темечком о косяк чердачной дверцы — там косяк низкий, я сам об него всегда бился. Осел и лежит.

Дальше был час — самый страшный час его жизни, как он сказал сам, и Морозов, слушая, поверил: сидел рядом с отцом на полу, в кисее, в темноте, держал его за руку и слушал, дышит ли. Отец дышал. Аркадий думал. Позвать людей — значит, объяснить, почему на нём саван и краска: значит, тюрьма, позор, а отец через месяц оправится и не простит никогда. Не звать — значит, оставить в темноте на полу.

— Я его понёс вниз, — сказал он. — Чтобы нашли утром, у лестницы. Чтобы вышло — упал. Он тяжёлый, я его на плече... а на площадке, на повороте, у меня нога поехала. Я его выпустил. — Он замолчал надолго. — Он до низу дошёл сам. Головой о ступень. Я слышал.

— А свечу вы зачем на полку поставили?

— Какую свечу? — тупо спросил Аркадий, и Морозов

увидел, что вот тут он не помнит, вовсе не помнит, — и поверил ему больше, чем всему остальному рассказу. Руки прибрались за него сами, как прибираются они у аккуратных людей: подняли подсвечник с пола и поставили к пастушке.

Протокол писали до сумерек. Аркадий подписал каждый лист и спросил только одно, уже в дверях, тем же тупым голосом:

— Господин чиновник. А правда, что он сам магистру то письмо писал? Про завещание?

— Правда, — сказал Морозов. — Он хотел, чтобы за него распорядилась ваша мать. Не решался сам.

— Стало быть, я его напугал... — Аркадий поморгал, — ...тем же самым, чем он себе разрешение выпросил. Я маменьку у него занял, а он маменьку купил... Ах ты, господи, что ж мы за люди-то такие.

И ещё Морозов не сказал ему — ни тогда, ни после, и правильно сделал — того, что установил через нотариуса на следующий день. Бельский подтвердил: да, Савелий Лукич прислал за ним записку и просил быть в понедельник поутру, по важному делу, «для перемены сделанного». Что именно старик собирался переменить — знали теперь только двое: сам Савелий Лукич и белая фигура в конце галереи, к которой он шёл со свечой и словами «я всё исправлю».

Вельяминов принял законченное производство с чувством глубокого удовлетворения, сильно испорченного размером фамилии.

— Признание, улики, экспертиза, — перечислял он, листая. — Стройно, Морозов. И, как всегда у вас, с изюминкой, от которой у меня изжога: покойный купец первой гильдии, оказывается, подкупал духа собственной супруги. Это в акт не пойдёт.

— В акт пойдёт, ваше превосходительство. Это мотив, по которому он в ту ночь вышел на галерею.

Вельяминов посмотрел на него поверх очков долго и — Морозов готов был поклясться — почти с уважением.

— Пойдёт, — согласился он наконец. — Пойдёт, чёрт с вами. Мошенничество Козлова выделить в отдельное производство, экономку — по статье о введении в заблуждение и оскорблении памяти, суд её пожалеет, ей семьдесят лет. И вот что, Морозов. — Он снял очки. — Вы у нас второй месяц, а тихих смертей у вас уже две. Я вам скажу неприятное: так не бывает. Так бывает, когда человек их видит там, где другие проходят мимо. Мне это выгодно и меня это тревожит. Ступайте.

Вечером Морозов пошёл на Сенную — не по делу.

Стеша встретила его в нижней зале трактира, оглядела, хмыкнула и велела подать графинчик и солёных грибов. Про Ковригиных они поговорили коротко: город уже всё знал в трёх версиях, и все три были лучше настоящей. Потом сидели молча, и молчать с ней оказалось неожиданно легко.

— За лавку спасибо, — сказал он. — За то, что послали. Хоть и опоздал.

— А ты не опоздал, — сказала Стеша, впервые на «ты», и это прозвучало не фамильярностью, а переходом на другой уровень отчётности. — Ты вовремя пришёл, только не туда глядел. Я тебе сейчас скажу, а ты не гляди на меня и грибы кушай. — Она подвинула тарелку. — Третьего дня ко мне человек заходил. Спрашивал про нового чиновника с Офицерской. Не по службе спрашивал, Александр Петрович, — по-хозяйски. Тихий такой, ласковый. Интересовался: правда ли, что новый чиновник в мой дом ходит, часто ли, и не бывает ли с ним... — она усмехнулась одними губами, — не бывает ли с ним чего. Не находит ли на него. Не глядит ли он, бывает, в пустые углы.

Морозов положил вилку.

— Что вы ответили?

— Что чиновник как чиновник, ходит редко, в углы не глядит, а глядит на что и всякий мужик глядит, — спокойно сказала Стеша. — И что ежели он ещё раз про моих гостей спрашивать станет, я его самого спрошу, откуда он такой любопытный. Он не обиделся. Он поблагодарил, положил на конторку три рубля — я не брала, он сам положил — и ушёл. И вот что, — она наклонилась ближе, и в глазах у неё не было ни насмешки, ни торга. — Я, Александр Петрович, воров видала всяких. От этого — холодно. И перстень у него надет поверх перчатки. Тёмный камень, гладкий. Ты бы, милый, поберёгся.

Домой он шёл пешком, через весь город, и мороз был та-

кой, что снег визжал под ногой на всю улицу.

Дома он зажёг лампу и достал тетрадку, которой не существовало ни в одном журнале. Записал по порядку, коротко, как пишут в сводку: пятнадцать рублей в месяц, пять лет, щель за ставнем у свечной лавки — ячейка, а не случай. Расчёт со стариком за месяц вперёд, запиской: «Благодарствуем, довольно». Лавка сожжена в ту же ночь. Молчаливый барин, лица нет, становится против света. Перстень поверх перчатки: тёмный камень, гладкий, «ровно бы тёплый», «изнутри мокрый».

Последнюю строку он писал медленнее прочих. Тёплый камень. Севастьянов, путеец, сидя у солдатки за Обводным, говорил ему про фигурку то же самое, теми же словами: каменная, а тёплая. Морозов положил перо и посмотрел на дверной косяк, где полтора месяца назад тлел зеленоватый след — единственная улика, которую он не мог предъявить ни одному прокурору в этом веке. Тот, кто носит такую вещь на пальце, носит её не для красоты. Он носит её, чтобы касаться, — и оставляет за собой свет, видимый одному человеку в городе.

А этот человек его теперь ищет, подумал Морозов. И этот же человек ему теперь интересен.

Вот и славно. Значит, знакомство состоится.

Он подвинул лампу и приписал внизу страницы, поверх всего:

«Спрашивал: не гляжу ли я в пустые углы».

Стало быть, они ищут не сыщика Морозова. Они ищут того, кто видит. А видящих в этом городе, если верить Гришиному шёпоту в дверях предварилки, они забирают.

Морозов затушил лампу и сел в темноте, лицом к двери. Спать не хотелось совершенно.

Глава 11

Книга третья. Список сорока одного

Масленица в столице шла широко: с балаганов на Марсовом валило гуляньем, с Невы тянуло блинным чадом, извозчики брали вдвое и божились, что мало. Сыскное отделение переживало эту неделю, как переживают ледоход, — молча и с полной готовностью к убыткам. Карманники работали в три смены, трактиры давали по драке в час, а Вельяминов, проходя по коридору, повторял одну и ту же фразу, как заклинание: «Господа, до Прощёного воскресенья — никаких сложных дел».

Сложное дело нашли в четверг, на льду у Тучкова моста.

Четверг был широкий — тот самый, когда гулянье выходит из берегов и город на день делается сам себе не хозяин. Морозов к этому времени успел изучить столичную Масленую по служебной части и находил в ней много поучительного. Неделю подряд пятьдесят тысяч человек ели, пили и катались с гор, а сыскное отделение аккуратно снимало с этого урожай: пропавшие бумажники, потерянные дети, поножовщина у балаганов, обмороженные, задавленные санями. Порядок был известен всем и оттого никого не удивлял. Мороз давно заметил свойство человеческих праздников: они прибавляют городу веселья ровно настолько, насколько прибавляют работы полиции, и соотношение это не менялось, надо

думать, со времён Ноя.

Женщину заметил водовоз, спускавшийся к проруби затемно: лежала шагах в тридцати от берега, на утоптанной тропе, которой в мороз ходят через Малую Неву, вниз лицом, в хорошей шубке, и снег вокруг неё был уже прихвачен коркой. Городовой, прибежавший на крик, отметил в рапорте: серьги вырваны с мясом, ридикюль распорот и пуст, на левой руке — сорванная перчатка, пальцы голые. Пристав, взглянув, продиктовал вывод раньше, чем присел: грабёж. Гулящая неделя, тёмная тропа, дама в шубе, пошла одна — вот и вся арифметика.

Морозова прислали к десяти, для формы: дело было уже определено в разряд простых.

Дроботов, увязавшийся с ним, по дороге высказался в том смысле, что на Масленой неделе покойников бывает больше, чем во всю зиму, и что виною тому блины: от блинов человек тяжелеет, дуреет и лезет куда не надо. На льду, впрочем, ворчание с него слетело сразу. Он окинул тропу, толпу зевак у берега, городового, топтавшегося поперёк следов, и рявкнул на всех разом так, что зеваки попятились на десять шагов, а городовой отступил на утоптанное. Морозов отметил это про себя с благодарностью: за полтора месяца Кузьма Игнатьевич выучил его порядок работы лучше, чем иные ученики выучивают за год, и первым делом теперь берёг снег.

Он подошёл, глядя под ноги, обошёл тело по широкой дуге и остановился в трёх шагах — так, чтобы видеть тропу

целиком.

Первое, что он отметил, было не про убийцу, а про место. Тропа шла с Васильевского на Петербургскую сторону, срезая дугу мостов; ходили по ней прачки, водовозы, мастеровые — люди, которым дорога копейка и час. Дама в котиковой шубке на этой тропе, в шестом часу вечера, одна, была примерно так же уместна, как соболья муфта в бане. Извозчиков в четверг на набережной — как галок; за двугривенный её довезли бы по мосту, в тепле и при свете. Стало быть, шла не потому, что жалела двугривенный. Шла потому, что здесь короче, а торопилась — очень.

Второе: следы. Снег на тропе был утоптан до костяной твёрдости, но по краям, в надувах, читалось. С восточной стороны, откуда пришла она, шли её следы — узкие, ровные, шаг частый, торопливый, ни разу не сбившийся: не гуляла, не оглядывалась. С западной, от берега, тянулись другие — мужские, глубокие в носке. И вот эти шли не по тропе. Они держались обочины, где снег был рыхлый и след глушился, шли ей навстречу и за десяток шагов до места встречи вышли на тропу.

— Ждал, — сказал Морозов вслух. — Не догонял. Стоял в стороне и вышел, когда увидел.

— Или шёл человек мимо, а тут дама в шубе, — возразил стоявший рядом пристав. — Соблазн-с.

— Соблазнившийся мимоходом бьёт сзади и бежит. — Морозов присел у тела. — А тут смотрите сами: она развёр-

нута к нему лицом, шляпка на месте, руки не разбиты. Она остановилась и стояла, покуда он подходил. Ждала подходящего спокойно. Стало быть, узнала.

Теперь можно было смотреть на неё саму.

Он приподнял край воротника — и на секунду его словно двинуло в грудь мягким кулаком.

Худое лицо. Тонкая шея. Он видел это лицо полтора месяца назад, в полутьме салона генеральши Лахтиной, — дама в чёрном, что подняла руки к горлу поправить медальон, а медальон полыхнул на весь мир зелёным, живым, тёплым светом, которого никто, кроме него, во всём Петербурге не видел. Верейская, Ольга Дмитриевна, вдова инженера. Наследственный медальон, «от бабки, с чьим-то волосом». Он тогда записал её имя в тетрадку и приписал себе: навести справки — осторожно, погодя, не пугая.

Погодя. Полтора месяца погодя.

Морозов постоял на коленях в снегу дольше, чем требовалось для осмотра, и медленно, аккуратно, как складывают лишний инструмент, убрал в сторону всё, что сейчас мешало: и то, что справок он так и не навёл, и то, что этой женщине, судя по её торопливым следам, к кому-то очень нужно было в тот вечер успеть.

Работать. Остальное потом, ночью, когда никто не смотрит.

Рана была одна — под левой ключицей, узкая, снизу вверх. Крови на шубке немного; вокруг, на снегу, тоже

немного, и лежала она не растёкшимся пятном, а редкими каплями по дуге. Морозов отметил это отдельно: убитая осталась на ногах несколько секунд, шаг или два сделала.

Серьги были вырваны из мочек — грубо, рывком, и обе мочки разорваны. Ридикюль распорот ножом по шву. Левая перчатка сдёрнута и валялась в двух шагах; на безымянном пальце виднелась светлая полоска — снимали кольцо. А вот шейная цепочка, за которую всякий грабитель хватается первой, потому что она на виду, — цепочка была цела. Морозов вытянул её из-под воротника кончиком карандаша.

Цепочка была цела и пуста. Замочек не сломан, звенья не разогнуты. Медальон с неё сняли — раскрыв застёжку. Двумя руками. Не торопясь.

— Ну-с? — спросил пристав, притопывая. — Грабёж?

— Грабёж, — согласился Морозов, поднимаясь. — Только вот, ваше благородие, взгляните: серьги он рвал, кольцо стягивал, ридикюль резал — работал зло и быстро, как работают за пять минут до городового. А цепочку расстегнул. Аккуратно, с застёжкой, пальцами. Как расстёгивают жене на ночь. — Он помолчал. — Такое бывает, когда человеку нужна одна вещь, а всё прочее он берёт для вида. Для нас с вами берёт, чтобы мы это самое и сказали: грабёж-с.

Пристав посмотрел на него с той смесью досады и уважения, с какой смотрят на человека, который портит хорошую погоду.

Дальше Морозов сделал то, ради чего, если начистоту, и

присел так низко.

Он посмотрел на её руку — правую, ту, что была в перчатке и лежала ладонью вниз у самого лица. И на пальцах, сквозь тонкую лайку, увидел свет.

Слабый. Гаснущий. Зеленоватый, тёплый — тот самый, ни с чем не спутаешь; но если на пыжовской полке след горел ровно и дышал, то здесь он лежал последними углями, размытыми, готовыми истаять. Она держала эту вещь в руке — совсем недавно, может быть, за минуту до ножа: доставала, сжимала в кулаке, куда-то несла. Морозов провёл взглядом дальше: искры лежали и на снегу, редкой цепочкой, вдоль тропы, обрываясь у обочины, где начинались мужские следы. Кто-то нёс её от места убийства — и по дороге свет с него сыпался, как снег с воротника.

Он поднялся, отряхнул колени и сказал ровно, никому:

— Пятнадцать шагов. Дальше не читается.

— Чего пятнадцать? — не понял пристав.

— Ничего. Замёрз, — сказал Морозов. — Тело — к Штейну, в больницу, а не в участковую покойницкую. Понятых по тропе — опросить всех, кто там ходит, начиная с водовоза. И, ваше благородие, сделайте милость: до вечера в рапорте пусть будет грабёж. Мне так удобнее.

К полудню грабёж, впрочем, чуть было не закрылся сам собой — и это оказалось самой скверной новостью дня.

В участке на Петербургской стороне уже сидел задержанный: босяк с Гавани по прозвищу Копчёный, взятый в тот

же вечер в кабаке при попытке сбыть половому пару дамских серёг с камушками. Серьги были опознаны по описи: её. Пристав сиял. Дело складывалось в один лист: пьянь, тропа, нож, серьги, кабак.

Морозов поехал смотреть на Копчёного и вернулся оттуда мрачнее, чем уехал.

Копчёный был мелок, испуган, полупьян и врал бессистемно — то есть врал, как врут глупые люди, которым нечего скрывать сверх обыкновенного. Серьги, божился он, подобрал. На тропе, у самой обочины, в снегу, часу в седьмом — шёл в кабак, увидел, как блестит, поднял и обмер: у бабы, что лежала поодаль, шуба хорошая, а он, стало быть, при её серьгах. И побежал. И тут же, дурак, понёс их сбывать, потому что деньги были нужны немедля, а завтра, известно, не наступает.

— Кровь на тебе есть? — спросил Морозов.

— Ни капельки, ваше высокоблагородие! — с надеждой сказал Копчёный. — Обыщите!

Обыскали. Крови не было — ни на пальто, ни на рукавах, ни под ногтями; ножа при нём тоже не нашли, а тот, что нашли позже в его углу, был кухонный, тупой, шириной с два его пальца — рана была уже. И главное: половой в кабаке показал, что Копчёный ввалился к нему «часу в седьмом с четвертью», а водовоз обнаружил тело до шести. За эти минуты человеку надо было убить, обшарить, добежать до кабака и успеть напиться до того состояния, в каком его взяли.

— А место покажешь, где поднял? — спросил Морозов.

Копчёный показал охотно, всей душой: свели на лёд, и он, дрожа, ткнул пальцем в обочину — не наугад, а уверенно, у третьего от берега надува, шагах в десяти от того места, где лежала убитая. Дроботов разгрёб снег и через минуту достал оттуда же вторую вещь, о которой Копчёный не знал и знать не мог, потому что серьги блестели, а эта — нет: тонкое обручальное кольцо, затоптанное в наст.

— Кольцо-то он что ж не взял? — озадачился Дроботов. — Золото ведь.

— А он его не видел, — сказал Морозов. — Кольцо не блестит в снегу, а серьги с камушками блестят. Наш Копчёный подобрал то, что подобрал бы всякий. — Он взвесил кольцо на ладони и посмотрел на обочину, где лежали, обрываясь, чужие следы. — Зато теперь мы знаем цену всей картине, Кузьма Игнатьевич. Человек сорвал серьги, стянул с пальца кольцо, распорол ридикюль — и всё это выбросил в снег в десяти шагах. Всё, до копейки.

— Значит, грабежа не было вовсе, — медленно сказал Дроботов.

— Грабёж был. Только грабили не имущество.

— Значит, серьги он поднял, — сказал Морозов приставу. — Ваш убийца, ваше благородие, серёг с собой не унёс. Он их бросил в снег у обочины, шагах в десяти. Сорвал и выбросил. Понимаете, что это значит?

Пристав не понимал и не хотел.

К вечеру он знал о покойной то, что можно узнать за полдня расспросов у швейцара, дворника и соседей.

Верейская Ольга Дмитриевна, сорока трёх лет, вдова инженера путей сообщения Верейского, умершего третий год назад в Сибири, на изысканиях. Жила на Съездовской линии, в собственной квартире в семь комнат, — квартира от мужа, средства от мужа же, скромные, но верные: паи да проценты. Прислуги держала двух: кухарку и горничную. Родни в городе — племянник покойного мужа. Знакомств — немного, и всё больше по домам: салоны, вечера, дамы её лет и склада. Из дому выходила редко, зимой почти не выходила вовсе.

И одна подробность, ради которой стоило слушать дворника целый час: с осени барыня переменилась. Стала запирать двери днём. Велела дворнику сказывать, ежели кто про неё спрашивает. И дважды за зиму, ночами, звала его посмотреть двор — «не стоит ли кто у ворот».

— И стоял? — спросил Морозов.

— Никого не стоял, ваше высокоблагородие, — со вздохом сказал дворник. — Двор пустой, снег нетроганый. Я так понимаю, нервы у них были. Одинокая женщина, известно.

Вельяминову он доложил коротко, зная наперёд, что услышит.

— Тропа, тёмное время, дама одна, — перечислил начальник отделения, не поднимая глаз. — Серьги при задержанном. Морозов, у меня на Масленой шестьдесят два происше-

ствия за трое суток, у меня половина города пьёт, а вторая половина обкрадывает первую. Скажите мне, что это простой грабёж, — и я пойду обедать.

— Не могу, ваше превосходительство.

Вельяминов положил перо.

— Отчего же?

— Оттого, что грабитель, ваше превосходительство, не расстёгивает застёжек. Он рвёт. У неё цела цепочка и снят медальон. Серьги выброшены в снег в десяти шагах и подобраны посторонним. Убийца стоял на обочине и ждал именно её, а она шла к нему навстречу торопясь и остановилась, когда он вышел. — Морозов помолчал. — И ещё. С осени эта женщина боялась. Запиралась днём, будила дворника смотреть двор. Полгода боялась — и дождалась.

Вельяминов долго смотрел в стол.

— Знаете, что меня в вас тревожит? — сказал он наконец. — Вы всякий раз приносите мне вместо простого дела сложное — и всякий раз оказываетесь правы. Второе примиряет меня с первым, но не полностью. Хорошо. Ведите. И запомните, Морозов: пока идёт Масленая, людей я вам не дам, кроме Дроботова. Все на гуляньях.

А значило это, что Морозов был прав ещё на льду, и правота эта ему не нравилась. Убийца рвал серьги не ради серёг. Он делал картину. И, сделав, аккуратно выбросил реквизит — как выбрасывают за ненадобностью бутафорию, отыграв спектакль.

Взял он с этой женщины одну-единственную вещь. Ту, что расстегнул двумя пальцами.

Ночью, дома, Морозов достал тетрадку, которой не существовало ни в одном журнале, и открыл её на январской странице.

«Верейская Ольга Дмитриевна, вдова инженера. Медальон, овальный, золото. Свет — живой, свежий. Наследственный, "от бабки, с чьим-то волосом". Навести справки осторожно, погодя, не пугая».

Он перечитал последнюю строку дважды. Строка была правильная. Всякий сыщик, у которого голова на плечах, сделал бы ровно так: не ломиться к салонной даме с расспросами о её медальоне, не пугать, обождать, подойти под благовидным предлогом. Он и обождал. Полтора месяца — совершенно разумный срок для человека, у которого на руках купец Ковригин, привидение на верёвочке и начальник отделения с изжогой.

За эти полтора месяца женщина, боявшаяся с осени, запиравшая двери днём и по ночам будившая дворника смотреть двор, дождалась своего вечера на льду.

Морозов сидел и честно, без снисхождения к себе, разбирал: была ли ошибка. Выходило, что по правилам ремесла — не было. А по существу выходило, что он полтора месяца знал в этом городе единственного человека, носившего на себе живой след, и не дал себе труда узнать о нём хоть что-нибудь, кроме фамилии. Знал — и отложил. В прежней жиз-

ни он за такое снимал с дела молодых, и снимал справедливо.

Он обмакнул перо и приписал под январской записью, ровно, без нажима:

«Опоздал. 7 февраля».

Потом подумал и приписал ещё, ниже:

«Она шла торопясь. Спросить у горничной, куда».

Глава 12

— Нож, — сказал Штейн, не здороваясь. — Узкий, обоюдоострый, длиною вершка в четыре, с упором: видите кровоподтёк по краю раны? Это не лезвие, это рукоять села. Ударили снизу вверх, под ключицу, сквозь лёгкое в сердце. И теперь то, за что вы меня цените, Морозов, а начальство ваше нет: ударили правильно.

— То есть?

— То есть не как в драке. — Штейн взял со стола карандаш и приставил себе под ключицу, показывая угол. — В драке бьют куда попало и обыкновенно в живот, потому что человек в ярости бьёт от себя, широко. А тут — один удар, короткий, точно в промежуток между ключицей и первым ребром. В этом месте, доложу вам, у человека нет кости; тот, кто туда попадает с первого раза, знает, что она там не растёт. Мясник знает. Фельдшер знает. Кто ещё — придумывайте сами.

— Раз ударили — и всё?

— И всё. И заметьте, милостивый государь: она стояла к нему лицом, вплотную. Ближе, чем стоят к чужому. — Штейн накрыл тело простынёй и снял очки. — Ещё: под ногтями пусто, руки целы, не оборонялась. Час смерти — от пяти до шести пополудни. И последнее, за что мне никто не заплатит: она была здорова, крепка и, судя по всему, соби-

ралась жить лет до восьмидесяти. Я это говорю не для протокола. Я это говорю, чтобы вы не расслаблялись.

Квартиру на Съездовской Морозов взял в тот же день — и вошёл в неё уже зная, что найдёт беспорядок. Не знал он только, какого рода.

Беспорядок был двойной, и Морозов, постояв в дверях кабинета, разделил его на два слоя, как разделяют смытые чернила.

Слой первый: ящики бюро выдвинуты, бумаги на полу веером, шкатулка с деньгами взломана и пуста, серебро из буфета сгребено в скатерть и брошено тут же, в коридоре, — грабитель, стало быть, спугнут. Всё как надо. Всё аккуратно неправдоподобно: спугнутый вор не бросает узел с серебром посреди прихожей, он бросает его во дворе, за воротами, где до него доходит, что бежать с узлом глупо.

Слой второй читался под первым, если смотреть не на разбросанное, а на само жильё. Книжный шкаф: книги вынуты и поставлены обратно — не тем порядком, но поставлены, а не свалены. Задняя стенка комода отодвинута и придвинута. Обивка кресел прощупана по швам — где ткань подпорота, там подпорото ровно, ножичком, вдоль шва. Половицы у окна отжаты и опущены. Иконный киот снят со стены и повешен назад.

— Что скажете, Кузьма Игнатьевич?

Дроботов, походив, сказал с чувством:

— Тут двое работали, ваше высокоблагородие. Один —

дурак с топором, для виду. А другой... — он поскрёб в бороде, — а другого я по молодости встречал, когда фальшивомонетчиков брали. Так ищут не деньги. Так ищут бумагу.

— Или маленькую вещь. — Морозов оглядел кабинет. — Только вот вам загвоздка. Слой этот второй — он ведь не сегодняшний.

Он показал: на полке, откуда вынимали книги, пыль легла заново, тонко, ровно, но легла — не за сутки. На отжатых половицах у окна свежий сор от блинов, натоптанный за неделю. Обшаривали квартиру не после убийства и не вчера — а раньше, недели за две-три, и тщательно. Хозяйка, надо думать, всё это видела и молчала. Приборку не делала, чтобы не спугнуть? Или боялась трогать?

— Значит, ищут давно, — сказал Дроботов. — Не нашли. И зарезали.

— Хуже, — сказал Морозов. — Ищут давно, не нашли, зарезали — и, судя по этому вот, — он кивнул на веер бумаг, — сегодня приходили снова. Уже после. Стало быть, то, что они взяли на льду, их не удовлетворило.

И ещё одно Морозов сделал в этой квартире — под конец, отослав Дроботова опрашивать соседей и притворив за ним дверь.

Он прошёл все семь комнат в темноте, задёрнув шторы, — медленно, глядя вбок и вверх, как научился глядеть за эти месяцы. Он ждал многого: женщина полгода носила на себе живую вещь, спала при ней, сидела с ней у окна; след должен

был лежать на её жилье, как копоть на потолке у печника.

Следа не было почти нигде.

Одна-единственная точка отозвалась ему во всей квартире: спальня, изголовье кровати, слабое пятнышко с ноготь — там, где вещь, надо думать, лежала ночами на подушке или под ней. И всё. Ни в кабинете, ни в гостиной, ни на бюро, ни у киота — чисто.

Морозов постоял, соображая. Выходило, что медальон она из спальни почти не выносила, а на сеанс к генеральше надела, стало быть, в виде исключения. И выходило второе, важнее: та вещь, которую полгода искали в этих стенах, — вещь, ради которой отжимали половицы и подпарывали кресла, — здесь никогда и не лежала. Иначе он увидел бы след.

Искали не медальон. Медальон висел у неё на шее, его взяли на льду двумя пальцами. Искали что-то другое.

Прислуга дала картину дома.

Кухарка Фёкла, глухая на левое ухо, показала мало и всё про еду. Горничная Дуняша — двадцати лет, зарёванная, ловкая на язык — оказалась свидетельницей золотой, из тех, что видят всё и понимают половину, а вторую половину честно пересказывают дословно.

Барыня с осени переменилась. Стала бояться. Спала при свете. Дважды переносила вещи: осенью — «шкатулочку» из бюро в спальню, а в декабре — вовсе из дому. Куда, Дуняша не знала: барыня взяла муфту и уехала одна, вернулась

налегке.

— Барыня чего боялась, Дуняша?

— Людей боялась, ваше высокоблагородие. Которые ходили. — Горничная шмыгнула носом. — С осени к ним ходить стали. Не гости — не пущали их барыня. Придёт человек, спросит Ольгу Дмитриевну, они в щёлку глянут и мне: скажи, что нету дома. Один раз сами вышли — говорили с господином на лестнице долго, вернулись белые. Я спрашиваю: барыня, кто это? А они: это, Дуняша, покупатели. У меня, говорят, покупают то, чего я не продаю.

Морозов записал фразу дословно.

— А в декабре, когда барыня возила вещи из дому, — как это было?

— А так и было-с: с утра встали, сами шкатулочку убрали в муфту — я в дверях стояла, видала, — велели извозчика не брать и ушли. Часа три их не было. Вернулись — руки пустые, и с лица будто полегчало им. Я спрашиваю: барыня, вы у родни были? А они смеются: у родни, Дуняша, у самой надёжной. — Горничная всхлипнула. — Только родни-то у них, окромя Ильи Гаврилыча, и не было никого.

— Что за шкатулочка?

— Махонькая. С ладонь. Чёрная, с костью по крышке. Барыня в ней бумаги держали, я один раз видала: тетрадка ихняя там лежала, в клеёнке.

— Тетрадка? — переспросил Морозов, и голос у него не дрогнул только по старой выучке. — Какая тетрадка?

— Обыкновенная. Барыня в ней писали. — Дуняша задумалась. — Не письма, не счёты. Сядут вечером и пишут — то одну строчку, то две, и опять уберут. Я раз спросила: барыня, вы записки ведёте? А они говорят: веду, Дуняша. Список. Чтоб, говорят, кто после меня будет, знал, где что лежит.

— А в четверг, седьмого, как было? По часам.

По часам вышло так. Днём барыня была дома, никуда не собиралась, велела к семи ставить самовар — ждала племянника, Илью Гавриловича, тот бывал по четвергам. В пятом часу принесли письмо. Не почтой — мальчишка с улицы отдал дворнику, дворник — Дуняше, Дуняша — барыне. Барыня письмо прочла в кабинете, у окна. Потом сделалась «нехорошая»: белая, скорая. Велела подать шубку, шляпку, ботики. Дуняша спросила, не позвать ли извозчика — барыня сказала: не надо, тут близко, я пешком, скорее выйдет. И ушла в начале шестого. Одна.

— Письмо где?

— Ой, ваше высокоблагородие... Они его при мне и сожгли-с. В печке-с. Как прочли — сразу и сунули. Я ещё подумала: письма-то жгут, когда от них худо.

— На конверте что было?

— А конверта не было, — сказала Дуняша. — Бумажка, вчетверо сложена, и всё.

Морозов помолчал. Картина складывалась простая и оттого мерзкая: женщину, полгода сидевшую взаперти, выманили из дому одной запиской. Значит, в записке было то, ра-

ди чего она забыла страх, отменила самовар и пошла в темноте по льду одна, торопясь. Не деньги. Деньги в записке никого не гонят на лёд бегом.

Круг Морозов очертил к вечеру, и круг вышел нешироким.

Илья Гаврилович Ястребов, племянник покойного мужа, единственный наследник. Тридцать два года, служит в правлении общества взаимного кредита, живёт не по средствам — но живёт, что важно: у людей, живущих не по средствам, всегда есть долги, а у долгов — сроки. Явился по вызову назавтра, сел, посмотрел на Морозова красными глазами и сказал: «Я знаю, что вы обязаны меня подозревать. Спрашивайте». Наследство, по его словам, вышло невелико: квартира да проценты, тысяч на сорок. Про седьмое показал: был на службе до шести, потом заезжал в цветочный, потом к тётке — и застал у ворот городового и Дуняшу в истерике. Служба алиби подтверждала не полностью: до шести за конторкой его видели, но контора была в двух шагах от Тучкова моста, а тётку убили между пятью и шестью.

Долги у него, впрочем, обнаружились немедленно, и немалые: две тысячи с лишком, срочные, по векселям, из тех, что не отсрочивают. О тётке же он говорил так, как не говорят о дойной корове:

— Она мне была родня одна на свете. Мой дядя меня из уезда вытащил, а когда он помер, я к ней ходил по четвергам не из выгоды — мне у неё дышалось легко. Она смеяться

умела. — Он посмотрел на Морозова прямо. — Про долги вы узнаете, так я сам скажу: две тысячи двести, срок в марте. И тётка знала, и предлагала. Я не взял. Не оттого, что благороден, — оттого, что стыдно было брать у женщины, которая последний год жила как в осаде.

— В осаде? — переспросил Морозов.

— Так это называлось у нас с ней в шутку, — сказал Ястребов, и лицо у него дёрнулось. — «Илюша, у меня осада». Я думал — нервы, одиночество, мнительность. Я ей, дурак, доктора советовал.

Кирилл Аполлонович Гарин, двадцати восьми лет, — фигура, объявившаяся неожиданно и оттого интересная. Бывший студент технологического, служил чертёжником у покойного Верейского, потом при вдове состоял «по делам»: разбирал бумаги мужа, вёл переписку, помогал с процентными бумагами. Приходил дважды в неделю. Ключей не имел. Дуняша о нём отзывалась с равнодушной приязнью: «Тихий. Чаю не спросит, покуда не поднесут».

Явился он сам, не дожидаясь вызова, — пришёл в отделение на второй день и попросил доложить о себе: человек, состоявший при покойной, полагает долгом дать показания. Морозов принял его и полчаса разглядывал, пока тот говорил.

Гарин был худ, чисто одет по-бедному — сюртук вычищен до блеска на локтях, — и обстоятелен той особой обстоятельностью, какая бывает у людей, привыкших к чертежу: гово-

рил по пунктам, даты помнил, сам поправлялся, если ошибался в дне. Ольгу Дмитриевну хвалил ровно и с уважением. О её страхах показал: да, замечал, что барыня встревожена; полагал причиной одиночество и здоровье. О бумагах покойного инженера: разбирал, приводил в порядок, часть сдал в архив общества. О себе: живёт на Петербургской стороне, снимает комнату, седьмого числа с четырёх до семи был дома, писал набело записку по чужому заказу — расчёты для инженера Кульчицкого; сам Кульчицкий в отъезде, но работу получит и подтвердит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.